



rocket**book**

Ирина ПОЛЯНСКАЯ

Горизонт событий



Pocket book (Эксмо)

Ирина Полянская
Горизонт событий

«Эксмо»

2004

Полянская И.

Горизонт событий / И. Полянская — «Эксмо», 2004 — (Pocket book (Эксмо))

ISBN 978-5-04-117854-3

Роман «Горизонт событий» – это связь времен, мерцание смыслов и метафор! В нем текуче сплетаются события разных эпох с жизнью и воспоминаниями главных героев, Все оказывается связано, вся культура детерминирована. Знаки, слова приобретают глубину, культурно-исторический шлейф различных значений, связей, коннотаций. В языке Полянской мы видим единение мира в пространственно-временном отношении, но люди, существующие в нем, по-прежнему оказываются разобщены и отчуждены друг от друга. «Это лирическая, фрагментарная (выражение самой Полянской) проза с калейдоскопичной композицией, насыщенная дополнительными смыслами-ассоциациями, возникающими на стыке значений, лейтмотивами, повторами, “рифмовкой” образов. Говоря о литературе первой трети XX века, такую прозу называли бы орнаментальной. Выражения в ней всегда больше, чем изображения, что, по сути, заявлено уже в названии романа – “Горизонт событий”» – Дарья Маркова, «Новый мир». Ирина Полянская (1952–2004) – финалист премии «Русский букер», лауреат немецкой литературной премии «Lege Artis» и премии журнала «Новый мир». Произведения Ирины Полянской издавались в переводе в США, Франции, Германии, Индии и Японии. «Ирина Полянская – замечательный, обладающий редким словесным мастерством, глубокий и сильно недооцененный писатель» – критик и литературовед Алла Латынина.

ISBN 978-5-04-117854-3

© Полянская И., 2004

© Эксмо, 2004

Содержание

Пролог	6
1	11
2	31
3	49
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Ирина Полянская

Горизонт событий

Я не стану описывать исторических ошибок нашего времени... Кто их не знает, кто их не видит! Они не касаются моей жизни.
Декабрист Н.И. Лорер

Пролог

...Когда облаченные в резиновые костюмы водолазы вошли, наконец, в воду, пятясь от берега спинами вперед, раздвигая льдины неуклюжими руками, Шура поняла, что с этой минуты время для нее остановится, а потом потечет вспять, как Иордан в день Крещения, и что бы теперь ни подняли со дна реки – ее пропавшего сына Германа, крыло «Мессершмитта», весло Харона или всю ее ушедшую жизнь, будущее, сомкнувшись с прошлым, наконец достигнет ее. Ослепительное будущее: смерть сына станет разрастаться облаком, увеличиваться в размерах, как плод, который она когда-то носила под сердцем, скоро он перерастет саму Шуру, и в тени огромной смерти Германа она начнет тихо угасать, пока не состарится совершенно, а сын будет продолжать расти без нее, двинется по ее следам, как плющ, оплетая безвестные кладбища, землю, переполненную человеческим родом, уже достигшим ее ядра и начинающим упорно пробиваться назад сквозь слежавшийся прах бесчисленных поколений, раздвигая *кости сухия*, перемешанные с золотом и нефтью, кресалами, бронзовыми щитами, матрицей древних стрекоз в янтаре, гвоздями сгнивших крестов. Свиток человечества станет разматываться начиная с Адама и заканчивая Германом, ангелы небесные ослепнут, разбирая поросшие мхом имена. Поддерживая друг друга плетями рук, мертвые потянутся из чрева земли, из пучины водохранилищ, и ангелы, как слуги, поднесут каждому их скрытые во мраке вины, – что же касается Шуры, ей они вручат большую плитку довоенного шоколада, которую она зимой 42-го года украла у умирающего от голода соседа-немца, своего единственного друга... Этот взгляд она несла по жизни – кроткий взгляд умирающего, высунувшегося из кучи тряпья на диване и молча смотревшего на Шуру, на ее левую руку, на измазанный шоколадом рот и опять на руку, расписавшуюся за бандероль, адресованную не ей. Когда ангелы ударят по рубильнику и зажгут прожекторы Страшного суда, тогда все увидят в ее ладони надкушенную шоколадную плитку с раскаленной фольгой, но она не разожмет руки, пока немец не подведет к ней ее сына Германа, которого спустя тридцать лет после своей смерти заманил в реку...

В тот день, когда Шура в последний раз видела Германа, она поссорилась с его отцом, выставив его за порог дома, потому что он подарил своей подруге Ольге Бедоевой малахитовую шкатулку, вывезенную из блокадного Ленинграда, единственную Шурину драгоценность, – отдал за Шуриной спиной, добренький за ее счет.

В распахнутую настежь дверь Шура вышвыривала его вещи, попадавшие ей под руку. Анатолий с беспомощной улыбкой на добром бабьем лице сам подавал ей то пальто, то разношенные старые ботинки, хорошо сознавая, что никуда он на самом деле не уйдет, пересидит бурю, закутавшись в выброшенные вещи, на крыльце, а ночью кто-то из детей, прокравшись на цыпочках мимо спящей матери, откроет ему дверь. Вслед за одеждой мужа на крыльцо полетели его рукописи, веером рассыпались по двору фотографии... А вот этого надругательства над отцом и их общим прошлым, запечатленным на любительских снимках, дочь Надя вынести не могла. Она рывком стянула со стола скатерть вместе со школьными тетрадками, а потом принялась хватать из шифоньера костюмы и платья на плечиках и тоже выбрасывать их с крыльца. Герман кинулся подбирать выброшенные на снег вещи. Надя натянула пальто и

устремилась на улицу. Герман, ни секунды не медля, бросился следом. Мать, увидев, что он побежал раздетым, полетела за сыном с полушубком и шапкой в руках, потому что знала, что если сестра куда-то бежит – брата не удержать... Герман на ходу накинул на себя полушубок, а шапку мать сама нахлобучила ему на голову, в последний раз коснувшись своего мальчика... После чего вернулась к крыльцу и стала подбирать вещи – свои и отца. Присмиривший Анатолий, тихо вздыхая, помогал ей.

Надя пришла поздно ночью – одна, с мокрыми ногами и оледеневшими рукавами пальто. На вопрос, где Герман, ответила сквозь зубы, что понятия не имеет, легла в кровать и затихла. Спустя некоторое время мать услышала странные звуки, доносившиеся из детской. Она встала и зажгла свет: Надя лежала с раскрытыми глазами и мотала головой по подушке, тело ее сотрясал озноб.

Утром дочь увезли в городскую больницу с подозрением на пневмонию. Шура пошла в школу, надеясь увидеть там Германа. Но в школе его не оказалось. У соседа Юрки Дикого Германа тоже не было. Девочка из Надиного класса сообщила, что вчера вечером видела Германа вместе с сестрой: они шли к реке. Услышав слово «река», Шура потеряла сознание...

Пока взрослые вызывали «Скорую помощь» и милицию, соседские дети сбегали к дымящейся промоинами и полыньями реке и принесли красную Надину варежку. Надя – бледная, с высокой температурой, лежала на больничной койке и, смежив веки, молчала как каменная; когда мать размахнулась и ударила ее по щеке, она раскрыла глаза и уставилась на ее руку, но не на ту руку, которой та ударила дочь, а на другую – которой мать много лет тому назад расписалась за чужую бандероль...

Милиционер тоже от нее ничего не смог добиться. Надя твердила, что была на реке с одноклассником Костей Самсоновым. Герман ее не догнал. Куда он девался, она не знает. Костя, допрошенный отдельно, рассказал то же самое – слово в слово. Только добавил, что они с Надей попытались перейти на другой берег к храму Михаила Архангела, но когда ступили на лед, он треснул, и они, провалившись в воду по пояс, с трудом выбрались на берег... После этого вернулись в поселок. Отец рассказал милиционерам, что Герман и раньше исчезал из дома: один раз, никого не предупредив, уехал в Москву с дачниками, в другой раз несколько суток прятался на огородах у Юрки Дикого. Отец был уверен, что Надя и вправду ничего не знает о Германе.

Так, в ожидании, прошло несколько дней. Шуру все время тянуло к реке... Лед уже разломился, река тронулась. Она ходила вдоль берега, подолгу сидела на опрокинутых лодках. После того, как Шура и ночь провела на реке, вызвали бригаду водолазов.

Когда из пузырящейся воды наконец показались медные головы водолазов, Шура вышла из оцепенения и истошным голосом закричала. Женщины, толпившиеся вокруг нее, схватили ее за руки. Шура кричала до тех пор, пока водолазы не выбрались на берег. Потом смолкла и села на снег. Мужчины разоблачали задубевших от ледяной воды водолазов. Милиционер записывал: «Прошли до понтона. Нет его в реке. Если б он утонул, мы б его нашли. Тело не могло унести за понтон». Водолаз, с которого Анатолий снимал костюм, сказал ему: «Зря старались, папаша. Может, сбег твой парнишка?» Милиционер добавил: «Видимо, сбег. Зря парней напрягали». Юрка Дикой, пока Анатолий суматошно хлопал себя по карманам, сунул водолазу в руку купюру: «Согрейтесь, ребята». Женщины подняли послушную Шуру со снега: «Пойдем, Петровна». Прежде ее никто не называл Петровной.

Вечером Костя привез сбежавшую из больницы Надю, закутанную в его пальто. Отец ей обрадовался, как сообщнице. С той минуты, как водолазы вышли на берег, он ожил и почувствовал себя хозяином положения. Надя сильно кашляла, но на это никто не обращал внимания. Она сидела на кровати, опершись спиной о стену. Ни один мускул в ее лице не дрогнул,

когда отец, оживленно жестикулируя, стал изображать сцену с водолазами. Он успел уже где-то приложиться к бутылке. «Они говорят: не бывает так, чтобы от человека ничего в реке не осталось, хоть сапог с ноги или еще что! А я им: правильно, сапоги бы точно остались, они ему были велики, правильно, мать?» Шура медленно повернула голову, прислушиваясь. «Водолазы прошли до понтонного моста», – напомнили отцу. Анатолий, довольный, хлопнул себя по коленям. «Верно! Это ж самое главное: прошли до понтона! Дальше понтона, сказали, его бы не унесло!» – «А мы уж решили – утонул», – произнесла Шура, стараясь дотянуться до Нади взглядом. Надя кивнула. «Еще чего – утонул! – повысил на них голос Анатолий. Шура ответила ему виноватой улыбкой. – Сбежал наш сынок, мать! Не вынес нашей ругани! Гера такой, чуть что не по нему – сразу дёру! Было же так, мать?» – «Было», – повинулась Шура. Надя закашлялась. «Вот! Простыла! Бегаете вечно невесть где, что ты, что Гера!» – «А когда Герман вернется?» – тихо спросила Шура. Соседи один за другим выходили на улицу. Костя приблизился к Наде, та сделала ему знак: уйди! Костя вышел. Надя и отец пристально смотрели друг на друга. «Когда! Кабы я знал – когда! – воскликнул отец. – Надо ждать. Запастись терпением. Может, он записку оставил? Поискать надо». – «Может», – сказала Надя, внимательно всматриваясь в отца. «Так ты поищи, Надежда! И не смотри на меня так! Когда он с дачниками убежал, мелом на заборе написал: мол, я в Москве!» – «Надке таблеток надо давать», – донесся из-за полуоткрытой двери голос Кости. «Да-да, – спохватился Анатолий. – Мать, где у нас есть что от кашля?» – «Не надо мне, – пробормотала Надя. – Подохнуть бы, чтоб этого не видеть». – «А главное, что я забыл вам сказать!.. – совсем зашелся в крике отец. – Тамара-просфорница в этот день переходила реку по льду! А она в два раза тяжелее Геры будет! Вот увидите, Герман скоро появится. У меня нет сомнений». Анатолий в изнеможении опустился на табурет и закрыл лицо руками.

Шуре приснилось, будто умерший немец сказал ей, что вернет ей Германа – хоть со дна реки, хоть с арктической льдины, – если она выполнит кое-какое условие. «Я не могу вернуть вам *тот* шоколад, – ответила Шура, – да и зачем он вам теперь?» Но немец потребовал, чтобы она прочитала тысячу книг с его полка. «Вы хорошо знаете, – с досадой возразила Шура, – что той ужасной зимой я сожгла ваши книги. Все они вылетели дымом. Осталась только одна, про Сараевское убийство, вы листали ее до последней минуты, зачитывая мне вслух, какой мучительной смертью умирал Гаврила Принцип в Терезиенштадте. Я не рискнула бросить в печь и ее, к тому же, когда мои руки дошли до убийства в Сараево, началась весна, сто с лишним дней и ночей мы провели с вами вместе, вы все рассказывали мне свою тысячу книг, а я слушала и запоминала, чтобы не умереть от голода, холода и отчаяния, а потом, со спрятанным под полкой маминой шубы Гаврилой Принципом, села в машину и поехала по ледяной Дороге Жизни». Немец посмотрел на ее рот и левую руку и сказал: «Ме-е»... Шура осторожно обстригала большими садовыми ножницами свалывшуюся шерсть на боках козы Званки.

Первыми ушли цифры: даты, числа, которые подпирали ее школьный предмет, превратившись в лес античных колонн, выстроенный с помощью отвеса и нивелира, вокруг которых, как привязанная к колышку Званка, кругами ходило Время, и сияла двулика Луна, невидимая сторона которой скрыта от нас, а на лицевой ее стороне происходило совсем не то, что неряшливо отражала изнанка. Невозможно шаг сделать, чтобы факт не разветвлялся во все концы света: по нему уже ползли грибковые наросты политики, философии и литературы. Принцип оказался ни при чем. Просто в мире было отлито критическое количество стальных капсул: на австрийских заводах Шкода в Богемии, немецких заводах Круппа в Эссене, Эргардта – в Дюссельдорфе, французских заводах Шнейдера в Крезе, и они роем египетской саранчи устремились на все живое. Вошел в действие закон взаимовыручки жизни и смерти: когда жизнь забывала о себе, забираясь в раковины диковинных вещей и политических утопий,

на землю обрушивался серный дождь, или всемирный потоп, или моровое поветрие, чтобы послужить исправлению нравов. В истории, учил немец Шуру, главный интерес представляет не столько видимая сторона Луны, по которой воображение легко реконструирует обратную, сколько, на первый взгляд, мелкий, скрытый в тумане факт, тринадцатый камень в японском саду – как ни вставай, видишь только двенадцать, и точка: так, например, Бонапарт проиграл кампанию главным образом из-за того, что Швеция упорно держала нейтралитет благодаря сговору генерала Бернадотта, короля Швеции, с Александром Благословенным, а вовсе не из-за отставки Барклая и назначения главнокомандующим Кутузова, Бородинского сражения, пожара Москвы, мороза, партизан, – да-да, историки по-прежнему видят двенадцать камней, и Бернадотт невидим для них, как в башне замка принцессы Авроры тайное веретено тринадцатой феи Карабос...

...Когда Рюрик отпустил Аскольда и Дира и они двинулись в Царьград по великому водному пути из Балтийского моря в Черное? Когда остановились в нищем городке полян, срубленным Кием и Хоривом, сборном пункте варягов? В каком году Русь приплыла в Византию и на скольких ладьях? Когда Владимир взял на меч Рогнеду? «Где наша дружина?» – спросили древляне Ольгу. «Каким обычаем не стало царевича Димитрия?» – спросил Нагова Шуйский. «Знаешь ли, что будет завтра утром?» – спросил Глеб Святославич волхва. «Я сотворю великия чудеса», – ответил волхв. Глеб взял топор и разрубил его надвое. Сколько освобожденных русских пленников после взятия Казани вернулось в Рязань, Пермь, Вологду? Сколько талеров дал Карлу Мазепа за учреждение Малороссийской коллегии? Сколько длилось стояние на Угре, завершившееся роспуском Учредительного собрания?..

Январь, апрель, года, века, талеры, червонцы, населенные пункты, поля сражений, династические перевороты, землетрясения скашивало терпеливое колебание одной струны, одной волны, которая вынесла на берег шлемоблещущих водолазов. Смуты, побоища, ристалища, великие завоевания Изабеллы и Фердинанда, снятие осады с Орлеана – все убралось в спрессованные штабели исторических дат, как мумиеобразные подмороженные тела во дворе блокадной больницы, слепленные льдом, припорошенные снегом, год, месяц, число не имели значения, разве что взвешенная на весах и признанная чересчур легкой блокадная пайка в 125 граммов, в то время как все вокруг наливалось свинцовой тяжестью – время, вода, сила трения, давление воздуха на душу населения. Несколько шоколадных долек могли уменьшить тяжесть и даже снова восстановить кладку исторических событий.

Ничего не восстанавливалось. Что было – водолазы не подняли со дна реки. Шура застыла на полуслове, лихорадочно листала свои конспекты, подглядывала в учебник, в котором на забытом языке излагалось то, что было, память бродила вокруг вбитого в тумане колышка даты, переносимого с места на место, какие-то беды выедали вокруг нее жизнь, ничего не осталось за спиной, все еще было впереди. Прошлое больше не связывало Шуру ни любовью, ни отвращением, ни привычками, ни чувством долга. Она едва помнила, что необходимо опрашивать детей, ставить отметки в журнал, что-то черкала на той странице, где стояла дата исчезновения Германа. А потом разрешила самим детям ставить себе отметки. Ученики ее видели, что историчка уже не та – мятая блузка, грязный воротничок, спущенные чулки, шпильки выпадают из волос, – но все еще пыжится, что-то несет про Людовика и его отрубленную голову, которая спросила у палача: «Друг мой, как там экспедиция Лаперуза?..» И чтобы Александра Петровна совсем уж ничего от них не требовала, дети догадались заговорить с ней на тему, которой избегали взрослые – о ее пропавшем сыне Германе...

Тут у Шуры со всеми классами установились такие задушевные отношения, каких прежде не было, и она сделалась и для них Петровной. Никаких строгостей, никакого Лаперуза, тишина в классе, чтобы директор ни о чем не проведал и забава не кончилась. Дима выходил к доске – рассказать о том, как они с Германом рыбалили на острове. Люба с места из-за парты вспоминала, как они строили шалаши. Окончательно распоясавшись, дети наконец

отбросили прошлое (как это сделала Шура) и заговорили о настоящем. Старшие и младшие классы соревновались друг с другом в выдумке. Германа видели в городском автобусе с биноклем в руках. Он промелькнул в окне электрички. В полутемном зале кинотеатра дожидался начала утреннего сеанса. Брал билет на поезд дальнего следования. Шура на все кивала, слушала с жадностью все новые и новые свидетельства о жизни сына и самое интересное стала записывать прямо в классный журнал, перемахнув наконец с марта в май. Тогда дети пошли на контакт с Германом. Один мальчик одолжил ему удочку, уже зная, что в учительскую стали просачиваться кое-какие слухи об уроках истории, другой сидел рядом с ним в парикмахерской, третий встретил его в Москве в магазине «Детский мир», и Герман сказал ему, что собирается на мыс Шмидта, куда раз в неделю летает самолет с Чкаловского аэродрома, и попросил займы денег. Дочь Надя могла бы быстро положить конец этому безобразию, но она и пальцем не шевельнула. Тут дети совсем взбесились. Принесли географическую карту, показали Петровне мыс. Ведь Герман бредил Севером. Ну и что, что вечная мерзлота, в пятидесятых годах на мыс Шмидта завезли индокур, которые в инкубаторах стали бешено размножаться, так что пух и перья летели вплоть до стоянки Амундсена. Полярники планируют построить на мысе оранжереи и выращивать в них ананасы, которые удобно замораживать прямо на льду. Их дети ездят в школу на собаках. Герман работает на метеорологической станции, помогает аэрологу запускать в стратосферу зонды, которые, как «Летучие Голландцы», вечно скитаются в стратосфере. Северное сияние, переливаясь всеми цветами радуги, дивным цветком вырастает изо льда, над которым носятся розовые чайки, и гагары тоже стонут. Хорошо бы поехать в эти замысловатые края, но тут в дело вмешался директор, наступил конец истории, и Шуре дали вторую группу инвалидности.

1

СМЕРТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. У индейского племени йорубо существовала «окраска обмана». Они придумали ее потому, что не умели врать. Другие племена, обитающие в долинах рек, часто злоупотребляли честностью йорубо, вытаскивая добычу из вырытых ими ловушек, что иногда приводило к военным столкновениям. За век до появления Колумба, который, рассчитав день и час лунного затмения, не постеснялся соврать индейцам, что он заберет с неба луну, если не получит от них продовольствия, йорубо поняли, что правдивость и беда ходят рука об руку, и изобрели «окраску лжи». Когда шаман возвещал им, что боги не против, чтобы йорубо обхитрили другие племена, они собирали со скал голубиный помет, растирали его с соком хинного дерева и топинамбуром и полученной краской покрывали лицо и тело человека, которого отправляли послом к соседям. Таким образом, посланный изрекал ложь не от своего лица, а от лица «тонкого йорубо», эфирного существа, в которое облакался честный йорубо, как в новую кожу... С помощью водяных весов йорубо выяснили, что «тонкий йорубо» весит ровно столько же, сколько душа умершего йорубо, то есть разница между живым телом, погруженным в воду весов, и мертвым составляет одно «са» (теперь ученые знают, что душа человека весит 24 грамма – это и есть одно «са»). Это открытие навело йорубо на странные мысли. Почему дух честного йорубо равен весу «окраски обмана»? Не является ли душа эманацией лжи? Если это так, то выходит, что йорубо своей честностью извратили природу духа, в результате чего из ловушек исчезали туши бурого медведя и дикой свиньи. После того как «тонкий йорубо» был взвешен на весах и признан легким, как эпидерма и душа, решено было отменить голубиный помет и соки растений. Шаманы призвали йорубо, намеревающихся солгать, к ряду магических действий, заранее очищающих их от греха лжи. Эти люстрации варварского народа напоминали индульгенции цивилизованного общества. На всех континентах шла борьба с совестью, которая весит столько, сколько весит тень и душа. Все, чуть возникнет опасность, меняют окраску, как камбала на дне, создающая на спине узоры из пятен и крапинок, после чего она начинает мутить воду для маскировки. Уклончивы слова по отношению к человеческой практике, удивительна их готовность к росту и семантическому воспроизводству. Реальность, подернутая радужной пленкой весом в одно «са», – это искусство. Помет и хина, краски и резец, перо и струна являются ловушками для улавливания материи. Тонкий йорубо, как солнечные лучи, извлеченные из огурцов Свифта, вбирал в себя все больше труда и жертв. Камбала все больше прибавалась ко дну, мимикрируя под цвет грунта, и у дна не было ни дна, ни покрывки, вымысел не давал действительности никакой передышки.

После того как Шурин отец, известный геолог-четвертичник, перед самой войной угодил в проскрипционные списки, а мама слегла в больницу, Шура впервые сама постучалась в дверь к соседу. Дверь немедленно открылась, точно немец неотступно стоял за нею, прислушиваясь к шагам на лестнице, поджидая гостей. Немец тоже попал в проскрипционные списки за бесцеремонные исторические аллюзии, которые он позволял себе на своих лекциях, но его просто отправили на пенсию. Имя «Герман Хассе», видно, было пока набрано слишком мелким шрифтом, тогда как имя Шурино отца вдруг пустилось в рост и с какого-то момента стало таким же заметным, рельефным и большим, как на дверной табличке. Правда, не успела Шурина мама подписать опись конфискованного имущества, как имя отца исчезло и с таблички, и из списков жильцов дома. К Хассе по-прежнему заходили его бывшие студенты и коллеги, приносили ему гостинцы. Шуру прежде здесь привечали, немец читал ей старинную скандинавскую балладу о Германе – Веселом Герое или что-нибудь еще, бывало, и угощал чем-то вкусным, но тогда Шура есть еще не хотела, а оставшись одна, однажды не выдержала.

Немец обрадованно схватил Шуру за руку и втащил в свое логово. Он-то был готов сколько угодно голодать, лишь бы по-прежнему обитать в перекрытом вынужденным увольнением речевом потоке, который и был его жизнью и памятью. В его голосовых связках скопилось великое множество мировых событий, как неисчислимое войско Ксеркса в узком проходе Фермопил, через которые пробирались персы в пестрых хитонах с рукавами из железной чешуи, вооруженные огромными луками и камышовыми стрелами, ассирийцы в медных шлемах с льняными панцирями и деревянными палицами, с копьями из рогов антилопы, арабы в длинных бурнусах, эфиопы в львиных шкурах с луками из пальмовых стеблей, бактрийцы с высокими тюрбанами и боевыми секирами, арии с мидийскими луками, каспии в козьих шкурах, ливийцы в кожаных одеяниях, пафлагонцы в плетенных из лозы шлемах, фракийцы в лисьих шапках, писидийцы с щитами из невыделанных бычьих шкур, – и немцу требовался хоть один-единственный слушатель, чтобы всадники, пехота и боевые колесницы, толпящиеся у его губ, могли пройти к своей неведомой цели, как стрела Одиссея сквозь отверстия двенадцати топоров, врытых в глиняный пол. Шура стала ходить к немцу, чтобы поесть, а не послушать, ей и в голову не приходило, что весь этот бред исподволь входит в ее жизнь, иначе она не позволила бы себя нагружать осажденными городами, изощренными пытками, пирамидами черепов, чумой в Элее и голодом в Леонтинах, наводнением в Долонии и пожаром в Сардах, разорением полей между Римом и Феделами и тайными жертвоприношениями Нумы, удивительной переправой Сципиона через Пад и садами Академа... К тому же сколько было дурных предзнаменований! На древках знамен вдруг вспыхивал огонь, королька с лавровой веткой в клюве растерзала стая птиц, солнце затмилось тучей неведомо откуда взявшихся стрел, в гигантскую маслину ударила молния и расколола ее надвое, соловей свил гнездо над заживо похороненной весталкой, таблички с именами срывались с дверей, и стены сделались прозрачными... Слишком много всего входило в Шуру с каждым глотком подбеленного сгущенкой кофе, толпы истерзанных голодом людей из Пиреи, Мелоса, Вавилона сгрудились возле скромных гостинцев, уму непостижимо, сколько событий подняли тростниковые перья историков. История мира брала разбег под небом соседа, пролегалла через его гортань, альвеолы, бронхи и легкие. Он создал ее из собственного дыхания, дрожания голосовых связок, речевых пауз и не представлял себе по-настоящему, что она и в самом деле развивалась и существовала вне его организма. Цивилизации сидели в суфлерской будке, паслись на книжных грядках; иногда немец обращал к ним растерянный взгляд, забыв название какой-нибудь пересохшей речки, подле которой шло сражение за тело царя Леонида. На самом деле его память давным-давно отпочковалась от книг, сделавшись отдельной древней библиотекой – Мусейоном.

Вероятно, сосед слегка тронулся умом, после того как в его глазах погасла аудитория, к которой он привык, как будто в окружающем его пространстве разом полетели электрические пробки.

Он не мог понять, что случилось. Факты настоящего времени не затрагивали его сознания. Он, конечно, знал, что его коллега, Михаил Дмитриевич Приселков, создатель истории русских летописаний, впервые показавший, что русские летописи – это памятники горячей политической борьбы, а вовсе не дело рук бесстрастных Пименов, сидел на Соловках, что Сталин самолично редактировал учебник по истории для четвертого класса профессора Шестакова... Ну и что? Иван Грозный переписал историю России, представив ее как историю единовластия, а до него новгородские летописцы из-за вражды с Москвою ни словом не обмолвились о Куликовской битве, а до них галицко-волынские летописцы ничего не сказали о Ледовом побоище, поскольку их княжество враждовало с Владимиро-Суздальским княжеством, участвовавшим в разгроме тевтонов. Романовы и прислуживающие им историки навязали последующим поколениям свою версию трехсотлетнего династического правления. Немец знал, что года три назад на глазах студентов арестовали замдекана Черницкого, что преподаватель Нико-

лай Арсентьевич Корнатовский стучал своей знаменитой палкой на студентов, задававших ему вопросы из досоветской истории, что в университетской газете печатали призывы к бдительности и разоблачению врагов народа, окопавшихся среди профессуры... Но входя в лекторий исторического факультета на 600 мест, Хассе забывал, что все это происходило и происходит в действительности. И когда однажды один отчаянный студент (или провокатор) написал на доске печатными буквами: *«Разве можно было убивать царя вместе с детьми? И устраивать процессы над бывшими большевиками?»*, немец не смутился, а бодро процитировал своего любимого Макиавелли: *«И тут уж недостаточно искоренить род государя, ибо всегда останутся бароны, готовые возглавить новую смуту; а так как ни удовлетворить их притязания, ни истребить их самих ты не сможешь, то они при первой же возможности лишат тебя власти»*... Не заволновался немец и тогда, когда на следующий день на доске появилась новая надпись, также цитата из сочинения флорентийского мыслителя: *«Однако же нельзя назвать и доблестью убийство сограждан, предательство, вероломство, жестокосердие и нечестивость: всем этим можно стяжать власть, но не славу»*... Студенты сидели тише воды, ниже травы, отводя глаза в сторону, но немец, прочитав написанное, одобрительно хмыкнул, как шахматист, приветствующий ход соперника, и, смахнув написанное влажной тряпкой, снова процитировал «Государя»: *«...люди поступают хорошо лишь по необходимости, когда же у них имеется большая свобода выбора и появляется возможность вести себя как им заблагорассудится, то сразу же возникают величайшие смуты и беспорядки»*. Отвечая неведомому оппоненту, Хассе ухмылялся: теперь он не сомневался, что в студенческой среде завелся провокатор. Но вместо того, чтобы прогреметь с кафедры: «Кто?!», как это сделал бы Николай Арсентьевич, когда на третий день появилась надпись: *«Люди уже не верят в социализм»*, немец снова прибег к любимому флорентийцу: *«Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими законов. Как оно и случилось в наши дни с фря Джироламо Савонаролой: введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить, у него же не было сил утвердить в вере тех, кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил»*... Хассе казалось, что он принимает участие в интеллектуальной игре, что 599 студентов держат его сторону и что 600-й, неведомый, восхищенный находчивостью немца, доносит наверх, что профессор Герман Хассе вполне благонадежен. Предвкушая дальнейшее развитие событий, он с удовольствием думал об этом 600-м, который сейчас чешет лоб, обдумывая новую каверзу, и в ожидании ее перелистал «Государя» от корки до корки, но через день, войдя в аудиторию, не обнаружил на доске никакой надписи, кроме сегодняшнего числа – 19 апреля 1941 года, – это была дата его изгнания из университета...

Теперь множество лиц, между которыми он аккуратно распределял моровые поветрия, падение великих городов и имена выдающихся полководцев слились в угрюмое личико девочки-подростка, одинокой и никому не нужной. Немец словно забыл, что ее мать, с которой он совсем недавно играл в четыре руки транскрипции Листа, еще жива. Шура смутно чувствовала, что для людей этой удивительной породы, к которой принадлежали и ее родители, практика давно шла на поводу у риторики, что было верным симптомом наступления глобальных перемен и смешения каст, предваряющих эпоху бюрократического косноязычия: резкое уменьшение словарного пайка по всей диагонали страны, появление громковещателей на улицах и тарелок в домах, утрата вещами своей насиженной формы, когда трое людей входят в дом и, сунув хозяину в лицо клочок бумаги, начинают рыться на книжных полках, разоряют книги, как мальчишки птичьи гнезда, смотрят на просвет корешки, срывают обложку, топчут страницы. На очереди музыка. С подушечек пальцев, гармонизирующих эфир, взяты неповторимые отпечатки кожи. Вскрыта полость рояля, удалены деревяшки, покрытые эмалью. Какая

вещь затерялась в тесситуре Баха, аранжировках Брамса и Мендельсона, что скрыл отец среди струн, в чугунной раме или под резонирующей чугунной декой?.. Что утаил он в шкафу среди маминых платьев, пахнущих лавандой?.. Звук лопнувшей струны, как и весь Чехов, наконец-то донесся до нас, хрустит стекло, рушится железо, плавится язык, следовало бы ставить на мелкие, эластичные вещицы, которым место в каморке прислуги, куда не достягает звук лопнувшей струны и требования дактилоскопии... Вошедшие люди вскрыли в гостиной паркет, ковырялись в цветочных горшках – в з е м л е, скрывающей свои сокровища, в темных глубинах, где из магмы кристаллизуется кремнезем, постепенно заполняя трещины и полости вмещающих пород, – прежде чем перейти в отцовский кабинет, где хранилась его коллекция драгоценных минералов, созданных солнцем, ветром, водой и временем.

Геология – особенная наука, единицей измерения в ней служат тысячелетия. Сказочная палитра верхнего карбона и среднего кембрия вспыхивала перед глазами отца, после того как он, вырезав из камня тоненькую пластинку, одной рукой включал осветитель микроскопа, другой клал шлиф на столик, подправлял фокусировку и подключал анализатор, – и миры, которые видели похороненные в небе звезды, вызванные к жизни поляризованным светом, открывались ему... Линза из исландского шпата, минерала, обладающего двойным лучепреломлением, помогала ему расшифровывать породы, возраст которых исчислялся сотнями миллионов лет, с удивительными образованиями в них, вроде хитинового слоя скорпиона, гифами грибов и комочками актиномицетов... Понятно, что в ультракрасных лучах ископаемых времен отец в упор не видел некоторых современных образований. Он был главным консультантом на строительстве канала Москва – Волга, знал наперечет все «бараньи лбы» на берегах, склоны водоразделов, балки, овраги, шурфы, состав породы, но не задавался вопросом, почему на строительстве используется труд заключенных, и какой, собственно, породы эти самые заключенные... Он был ученым планетарного масштаба мысли, но не понимал того, что делается под носом, иначе не удивился бы так сильно незванным гостям, которые как солнце, ветер и вода в мгновение ока разнесли его жизнь, истолкли в своей дьявольской ступе стены его жилища, звуки и краски, бумагу и камни. Он составил уникальную карту четвертичных отложений в районе Орши и Могилева, Урала и Нижнего Тагила, но не заметил поспешных массовых захоронений в черноземе и песчанике. Поэтому в часы обыска с его лица не сходило изумление, как будто добрейший Петр Евгеньевич обнаружил в современных огородных почвах трехгранную гальку, лежащую острым концом к направлению доисторического ветра – так называемого «ископаемого ветра», буйного ветра, уносящего коней и всадников, разрушающего породу, сметающего с лица земли города и память о них... Нет, отец не мог скрыть своего удивления, хотя что могло произойти на земле такого, чего бы он не знал, чему не находил аналога в породе? Армия мелких существ подготавливала сушу для заселения ее более совершенными живыми формами. На скалах появился лишайник, мхи, споры... Их геологическая работа сведется к разрушению горных пород через систему корней, к химическому воздействию на породы органических кислот, к созданию новых пластов за счет накоплений отмерших организмов, один из которых... Один из вошедших поинтересовался: «Товарищ, не найдется ли у вас ящичка, чтобы упаковать коллекцию?» Другой, отодвинув локтем смету экспедиции в район реки Лены, над которой еще недавно трудился отец, стал составлять опись камней. И тут отец понял: ему предстоит пройти шурфы и штольни такие крошечные, какие германские рудокопы проходили с пением псалмов, опасаясь галлюцинаций и обвалов породы. Покорно прикрыв глаза веками, он принялся диктовать.

Его коллекция содержала: *гиацитт*, наводящий на человека сон, и *оникс*, ввергающий его в бессонницу; предохраняющий от яда *яспис* и излечивающий от лунатизма *серый агат*, который в прежние времена находили в гнездах ласточек; спасающий от укусов смертоносных

гадов *агат* и целебный для зрения *изумруд*; *гранат*, изгоняющий из людей бесов, и *аквамарины*, от которого бледнеет луна; помогающий при родах *нефрит* и усиливающий храбрость *сердолик*; *авантюрин*, создающий бодрость духа и вдохновение, и *соколиный глаз*, подтачивающий силы врага; предохраняющий от ран *опал* и спасающий от удушья *сапфир*; оберегающий от измены *кошачий глаз* и *янтарь*, утишающий страсть; навевающий меланхолию *малахит* и *сардоникс*, защищающий от обмана; *гематит* против вспышки гнева и *рубин*, рассеивающий тоску; *халцедон*, привлекающий к женщине сердца мужчин; *берилл*, привлекающий к мужчине женские сердца, из халцедона и берилла король Марк приказал изготовить гробы для Тристана и Изольды; еще *топаз*, рождающий безмятежное наслаждение жизнью, а также *бирюза*, камень победы... Увлечшись, отец позабыл, кому он читает лекцию, которую гости прослушали с явным удовольствием, – играл голосом, жестикулировал, расхаживал от витрины к витрине, показывая указкой самые лучшие образцы коллекции, как будто натянул на себя броню из *авантюрина*, создающего бодрость духа и вдохновение.

Тут началась война, и Шура поняла, что напрасно она пропустила мимо ушей историю Пелопоннесской войны, полагая, что к ней это не имеет никакого отношения, успокоившись на мысли, что мир больших величин слишком велик для того, чтобы ему было дело до ее крохотного существования. Оказалось, что именно до нее и до таких, как она, ему и есть дело, до ее куска хлеба, тепла и дыхания, что государства базируются на съедобных вещах, имеют вкус и вес, и они тают во рту с невообразимой быстротой, сдобренные слюной, как торт под названием «Город», выставленный еще в довоенное время в витрине кондитерской на Шпалерной – огромное колесо с крепостными стенами из клубничного крема, дозорными вышками из взбитых сливок и цукатов, белыми песочными зданиями, облитыми глазурью, с озерцами из желе, купами зелени из мармелада. Или как торт «Время» – со взбитым из белков циферблатом, со стрелками из толченых орехов, показывающий всегда одно и то же время, двадцать пять минут двенадцатого дня или ночи, с насыпью цифр из шоколадной стружки, с этого времени ленинградцы начали выкапывать блиндажи в отложениях девонского периода, когда появились первые хрящевые рыбы, легочные и кистеперые, клещи и амфибии...

В июле в больнице имени Софьи Перовской умерла мама. Шура давно уже поселилась возле ее смертного одра, выполняла все поручения персонала, мыла полы, выносила судна, протирала ватой с перекисью водорода пролежни умирающим, как будто предчувствовала, что здесь ее спасение. Пробегая мимо кондитерской, Шура поглядывала в витрину: *Время* все еще показывало двадцать пять минут двенадцатого... Но к началу бомбежек, когда они вместе с соседом-немцем наклеили на стекла крестообразные полосы, еще не представляя себе, что клейстер – это еда, *Время* пожрало *Город*. Оно стало вырастать прямо на глазах, как будто набухало от голода, делалось огромным, как дальние сибирские перегоны, вытягивало человека в струну, как приливные силы за барьером горизонта событий в черной дыре космоса, где пространство, которым мы управляем, подменяется временем, над которым мы не властны. Перегоны от одного приема пищи до другого вырастали как на дрожжах, выбирая из организма самое ценное и невесомое – память, любовь, жалость, тогда как все тяжелое – кости, кровь и жизнь – приходилось таскать на себе. Немец выстаивал очереди за хлебом, отоваривал свою и Шурину карточки, за это Шура приносила ему в целлулоидной коробочке больничную кашу. Оттого, что она была целый день на людях, день не казался ей таким огромным, как для немца. Тихим голосом он продолжал рассказывать свои истории, и Шура слушала его, боясь выбиться из заданного ритма, точно в этих рассказах скрывались какие-то дополнительные калории, как в соевом молоке или кильке с погашенными глазами.

В 1915-м году Германа Хассе вместе с группой германских поданных, принадлежавших к тайному обществу «Дейчес Флоттен-Феррейн», ведущего разведку в пользу Германии, сослали в Вологду, а позже – в Вятскую губернию, а еще позже, в 19-м году, он оказался в немецком городе Алленштейне в этапном пункте вместе с солдатами, обезумевшими после тяжелых боев под Верденом, с солдатами из Месопотамии, сражавшимися бок о бок с турками, с солдатами, защищавшими империю Франца-Иосифа от итальянских стрелков в Альпах, с солдатами из России в грязных казармах с постоянно меняющимися обитателями, некогда бывшими элегантными кавалеристами, бойцами тяжелой артиллерии, пехотинцами и матросами, превратившимися в голодное измученное стадо... Немца спасло знание русского языка: он прибил к радиостанции, стал переводить перехваченные радиосводки и другие радиосообщения полевого штаба РВСР. За эту работу его прикрепили к столовой, где питались кадровики. Немного отъевшись, немец решил во что бы то ни стало вырваться из Алленштейна, потому что прослышал о том, что скоро в этом районе пройдет плебисцит по вопросу принадлежности этого города, из-за которого Польша ввязалась в спор с Германией, и пешком отправился на родину, в Лейпциг. В эти годы, с 1915-го по 1920-й, он привык к толчкам времени в своей крови, к тому, что оно меняет свой бег в зависимости от той или иной пищи, потребляемой им, или отсутствия таковой. То оно разливается во всю ширь, то возвращается в привычное русло, то делается непроходимым, как польские болота, через которые он пробирался в Лейпциг. Он понял, что когда время растягивается, в нем даже вещи утрачивают свое назначение.

Теперь это довелось узнать Шуру. Когда *Время* было кремовым и песочным, облитым глазурью и посыпанным толченым миндалем, их старое, обитое английским шелком кресло звало к тишине и размышлениям, а мамины часики с надетой на стекло никелированной решеткой и ключиком уютно шуршали в кулаке, словно пойманная стрекоза. Но пришло время, и на первый план выдвинулись грубые, однозначные вещи, фоновые предметы, хранящиеся в чулане, вроде лестницы-временки или жестяных кружек, а все яркое, метафизически насыщенное, подалось в тень. Одни вещи могли дать тепло, другие – нет. Жизнь теплилась вокруг протоптанной в пыли поляны, где вдруг выросли табурет, печка, жестянка, молоток и ножовка, с помощью которых Шура расщепляла паркет, кровать немца с сугробом слежавшейся одежды, диванчик Шуры, покрытый тяжелыми бархатными портьерами, одно на двоих ведро, к которому вела отдельно протоптанная в пыли тропинка в библиотеку... Что касается библиотеки, то если в октябре книги шли выборочно на быстрое, первоначальное тепло и немец долго торговался за каждую книгу, которую Шура обрекала на гибель в огне, – именно в этот момент та казалась немцу очень ценной и прекрасной, – то в ноябре он перестал ощущать ценность отдельной книги и в библиотеку заходил только по нужде, не замечая расстроженных полок, похожих на клавиатуру с вырванными клавишами.

Между сентябрем и ноябрем был октябрь, месяц равновесия, когда жизнь, базирующаяся на привычках и условностях (одной из которых была культура), все еще стоящая на почтительном расстоянии от человеческого организма, не сделала еще нескольких семимильных шагов и не подошла к нему вплотную. К ней еще вели тоненькие ручейки круп из запасов, по их следам плелась надежда и искала выход из города на Сестрорецк, Вырицу, Колпино, Слуцк, от юго-запада Финского залива до Петергофа, фортов Кронштадта и Красной Горки, от Шлис-сельбурга до устья реки Тосны. Ручейками убегали из города пшено, гречка, сахар и мука, расчищая горизонт от иллюзий, общественных и личных, наступало время прозрения, для каждого свое, застывшие двадцать пять минут двенадцатого, с которых стаяли последние крошки шоколадной стружки и рахат-лукума, стрелки повисли в полной пустоте.

Сквозь волны наплывающих друг на друга эпох, ранний классицизм Валлена-Деламота, декоративное барокко Растрелли, русский ампир Воронихина и Захарова одна за другой шли встречные волны воздушной тревоги, встревоженный воздух то здесь, то там срезал часть

улицы, крушил стены дома, обнажившиеся лестничные пролеты вели в безмятежное октябрьское небо, пламя ходило ходуном по комнатам. Кружась в воздухе, стекало с деревьев лето, уходила в землю невозмутимая краса осени, заноса листвой сообщающиеся друг с другом Дворцовую, Адмиралтейскую и Сенатскую площади, Невскую перспективу, Летний сад с упитанными богами и нимфами, укутанными в мешковину, будто их вот-вот собирались вздернуть, Ростральную колонну, стрелку Васильевского острова, Триумфальную арку, запряженную укутанными в саван конями, атлантов, сфинксов и львов набережных; золотая осенняя листва через Мойку, Фонтанку, канал Грибоедова и Неву сплавлялась в море: сообщение с наплывающей со стороны Вырицы и Красного Села эпохой ноября оказалось отлично налаженным, невзирая на кольцо блокады, время не останавливалось, метроном из репродукторов отсчитывал последнюю пайку тепла, капля за каплей падали долбящие гранит капли времени, сухо и страшно шуршала поземка грядущей зимы... Сбывалось пророчество царицы Авдотьи: город пустел. Сбывались и менее значительные литературные пророчества – в ту пору, когда в городе наладили производство хвойного настоя от цинги, Шура случайно раскрыла «Крестовых сестер» Ремизова и прочитала: «Настой из навоза будет пить народ, а больше ничего не будет съестного...»

Остановились трамваи, но гулко билось сердце города, зажатое в длани Петра, покрытого мешковиной, будто его тоже собирались вздернуть, но работал почтамт возле Исакия и телефонная станция, на которой трудилась телефонной барышней Шурина мать вплоть до того октябрьского рокового полудня, когда возле станции появился броневик с большевиками и матросы стали штурмовать здание... Телефонным барышням, как неким новым весталкам, запрещалось выходить замуж, поскольку они многое знали, особенно те, что имели нехорошую привычку подслушивать разговоры абонентов. Слишком многое они знали, телефонные девушки, для того чтобы сочувствовать юнкерам, наверное, они владели всей полнотой информации, которой не имело Царское Село и Государственная дума. Они знали про тайные переговоры Гучкова с Милюковым о создании «Прогрессивного блока», про равнодушие к нуждам нашей армии занятого личной жизнью военного министра Сухомлинова, про то, как Прокопович с Кусковой мечтают о новом правительстве из кадетов и октябристов, что Протопопов переметнулся к Распутину, благодаря чему сделался министром внутренних дел, что Львов сговаривается с генералом Алексеевым об отстранении царя и передаче престола великому князю Николаю Николаевичу, а князь Юсупов с великим князем Дмитрием Павловичем – об убийстве «божественного старца», а также о том, о чем на протяжении всей войны неустанно трезвонил наезжающий к фронтовым генералам Родзянко, – что русская армия сидит без сапог и снарядов, нет ни того, ни другого, поставщики срывают заказы, Америка не выполняет обещанных договоров, Франция тоже медлит, внушительно басил Родзянко, русской армии грозит неминуемая гибель, невзирая на блестящие победы Самсонова и героический прорыв Брусилова... Уже броневик с большевиками подкатил к телефонной станции, а Родзянко все гнул свою телефонную линию про босую русскую армию, которую надо спасать... Большинство девушек, сочувствующих юнкерам, в том числе и Шурина мать, разбежались, а девять наиболее информированных радостно отключили провода, по которым туда-сюда сновала деза, после чего большевики мигом обули и армию, и весь народ, и союзников в Брест-Литовске, а телефонные весталки принялись соединять друг с другом новых первых лиц русской истории, съехавшихся на великий бал Октября – кто из Дюссельдорфа, кто из Цюриха, кто из Лондона... И снова по испорченному телефону, по проводам, затаренным недопоставленными сапогами и снарядами, стала курсировать деза, русские не поняли, что брест-литовский договор – это фикция, что мировая война не закончена, она тлеет в баварских пивных, по подземным коммуникациям сухого торфяника и карстовым пустотам подбирается к Мюнхену, Берлину, Праге и, наконец, Ленинграду – к телефонной станции у Исакия, где сидят старые

телефонные барышни, в свое время упустившие шанс порвать цепь лжи и предательства, источившего провода, а теперь обреченно подслушивающие нервные разговоры Кузнецова со Ждановым, Жданова со Сталиным о том, что на них со стороны Вырицы и Гатчины, как еще один бодрый вождь, идет зима, неслышно ступая по золотой листве октября, идет, чтобы привести всех оставшихся в городе к *термодинамическому равновесию* ...

Октябрь стал месяцем равновесия. На дворе, незамутимая бомбежками, стояла золотая осень. До середины ноября не сокращалась норма продажи хлеба. С сентября по октябрь это произошло трижды: в октябре только прошла перерегистрация карточек, норма не уменьшилась. Шура получала по служебной 200 граммов. Столько же получал сосед-немец по иждивенческой. Была еще колбаса из конины, студень из бараньих кишок с гвоздичным маслом, холодец из телячьих шкур, яичный порошок, кисель из водорослей. Жмых, отруби, солод, мельничная пыль, рисовая лузга, кукурузные ростки обеспечили более-менее мягкую посадку в ноябрь – пасмурный и холодный, в котором норма выдачи хлеба понижалась дважды. Но зато на Ладоге стал нарастать лед. Секретарь горкома Алексей Кузнецов каждое утро справлялся о ладожском льде, каков его прирост на душу населения, может ли по нему пройти хотя бы лошадь без груза... 22 ноября, когда норма хлеба уменьшилась до ста двадцати пяти граммов, толщина льда выросла вдвое, и по Ладоге пошли машины.

...В солнечном и теплом октябре перед Шурой прошли последние видения из античных времен через легендарный коридор, прорубаемый 54-й армией с востока, со стороны Мги, изнутри поддержанный колбасой из конины и овсом, отнятым у лошадей, – восьмерка белых, упитанных коней провезла сквозь него увитый гирляндами цветов помост, на котором пировал Александр Македонский в пестром персидском хитоне, за ним следовал ряд колесниц, защищенных от солнца пурпурными коврами и свежесрезанными ивовыми ветками, с полководцами, почерпывающими вино из пифосов и кратеров. Торжественное шествие победителей с веселыми восклицаниями, под звуки флейт и свирелей, проследовало через перспективу Росси мимо заколоченных домов и облетевших деревьев и исчезло за холмами Мги, после чего античные пронзительно синие небеса свернулись, как слоистая береста, и обнажили подлинное небо, тучи, перемешанные с пеплом, которые уже не прорезали ослепительные крылья голубей, потому что и голуби, и кошки, и мельничная пыль из выбитых мешков ушли на последний обогрев памяти, обваливающейся в разверстые хляби голода...

В конце октября немец в последний раз вошел в библиотеку за книгой не для тепла, а для чтения. Он примостился с книгой на ступеньках лестницы и так бы и застыл на них, как дряхлый Ясон возле скелета своего «Арго», если б Шура не согнала его оттуда. Немец вцепился в последнюю свою книгу, которую пытался читать в отсутствие Шуры, ту самую, которая когда-то повлияла на его решение эмигрировать в СССР – «Сараевский выстрел»...

...Знала или не знала Сербия (Белградское правительство) о готовящемся покушении на австрийского престолонаследника Франца-Фердинанда? Этот вопрос обсуждался в печати больших держав летом 1914-го года и был в целом решен отрицательно, иначе Франции, Англии и России пришлось бы признать заявление Германии о локальности Австро-Венгерского и Сербского конфликта... Этот же вопрос был поднят снова в 1918-м году, когда надо было возложить ответственность за Первую Мировую Войну на какую-то одну страну. Факты неопровержимо свидетельствовали о том, что официальная Сербия вооружала и субсидировала его исполнителей, помогала им переправиться через границу в Сараево, в местной газете был помещен подробный маршрут следования кортежа эрцгерцога по городу, графически почти совпадающий с маршрутом Александра Второго в день убийства его Гриневицким, на колокольне одного из сараевских храмов за полчаса до убийства Франца-Фердинанда был вывешен траурный флаг... Но, как известно, жизнеспособность факту обеспечивают перья

журналистов, а они действовали в интересах своих правительств. Слово сразилось с Делом и победило, оно и смазало спусковые устройства, привело в боевую готовность войска, подготовило новое химическое оружие, перемолот факты на своей типографской мельнице, довело истину до состояния газопылевого облака, из которого отливаются ядра планет и пушечные ядра. «Маленькая невинная Сербия» – это словосочетание несло идею перекроя политической карты мира по германским, английским или французским лекалам, оно действовало на умы неотразимо.

Начало новой послевоенной эры брало разбег от темы невинности Сербии. Германия в это время голодала и потому была настроена серьезно. Эта серьезность оказалась исполнена такого пафоса, что побежденная страна очень быстро поправила свою промышленность и подняла сельское хозяйство, рядовой немец, листая протоколы Парижской конференции или газеты с выступлениями Чемберлена, остро ощущал, что время на его родине берет разбег, что слова обесцениваются, как курс гомерически падающей марки, и что государство нуждается не в литературных изощрениях, а в примитивном руническом письме, дарованном скандинавам богом Одинем, в мифах, знаках, каббале. Тут Розенберг выдвинул идею генетического стандарта, требующего отсутствия в немецкой крови примесей начиная с 1750-года. У Германа Хассе в жилах, кроме немецкой, текла и еврейская, и хорватская, и французская кровь, и он стал подумывать об эмиграции. И тут в его руки попала книга «Сараевский выстрел», написанная ленинградским историком, в которой на основе австро-венгерских, белградских, итальянских и французских источников доказывалось, что Сербия *знала*. Для большинства мировых держав это была идея будущих времен, а для России, думал Хассе, – нелицемерная практика настоящего момента. Он решил перебраться в Советский Союз, в Ленинград, где преподавали такие корифеи науки, как Евгений Викторович Тарле, Борис Дмитриевич Греков, Василий Васильевич Струве и другие выдающиеся ученые.

Температура опускалась ниже и ниже, тонкая ледяная основа на Ладоге подбивалась изнутри новыми слоями льда. Редкие прохожие на улице вдруг застывали в равновесии между жизнью и смертью, и порыва ветра было достаточно, чтобы уложить их на снег с неотоваренными карточками у сердца. Невидимая игла будущего бежала по канве событий, играя с ниткой, путь ее после нескольких стежков зарастал морозным узором, и непонятно было, что возникло на лицевой стороне сперва – кольцо или палец, на который оно было надето, так быстро спутывалась картина, исчезал след мелка, съезживалась наметка, так пестро кучерявились цвета, изливаясь волной на основу. Изнаночная сторона с узелками, похожая на расчерченную красными карандашами карту Генерального штаба, лежавшую на столе в кабинете со сводчатым потолком и облицованными светлым дубом стенами, выглядела правдоподобней и богаче лицевой, в игольное ушко входит пехота, тяжелые танки и артиллерия, из которого они все выходят уже *историей*, потому что внутри ушка сидят летописцы с тростниковыми перьями и многое зависит от их способности пробивать профилирующую строгую нить... Тит Ливий утверждал, что история Эллады менее богата событиями, чем история латинян, просто греки были более талантливыми писателями. На лицевой стороне проступают события, облагороженные канвой, люди, живые и павшие, раненные при обстрелах из сверхкрупных гаубиц, инвалиды, сироты, вдовицы, а изнанка скрыта от взгляда, она нарастает исподволь, как лед в ноябре, овеваемый небытием.

В начале ноября Шуре неожиданно пришло по почте приглашение на оперный спектакль «Травиата» от ее бывшей учительницы из балетной студии – балерины Ольги Иордан. Ольга танцевала неаполитанский танец.

В кинотеатре «Великан» зрители сидели в пальто, ушанках, валенках... Шура закуталась в мамину шубу, чтобы ее не узнали другие воспитанницы студии. Но девочки-балерины успели

эвакуироваться. Артисты миманса тоже покинули город. Участвующие в спектакле немногие артисты держали в каждой руке вырезанные из фанеры и раскрашенные силуэты мужчин и женщин, чтобы создать впечатление массы людей. Шура подумала, что учительница пригласила ее именно для этого – чтобы она подпирала слабыми, истончившимися от голода руками две фанерные фигуры на маскараде у Флоры. Для этого она еще годилась. А вот встать на пальцы уже бы не смогла. . . Тут на балу у Флоры проревела сирена воздушной тревоги, и Шура, не дожидаясь, пока Альфред бросит в лицо Виолетте кучу банкнот, выбралась из зала. Она не захотела увидаться со своей учительницей.

По утрам Шура уходила на работу, а немец – в свою книгу «Сараевский выстрел». Рассказывая вечерами Шуре о прочитанном и передуманном за день, он начинал понимать, что войны шьются на вырост, они не ограничены ни поколениями, ни определенными датами. По Ладого пошли первые машины с продовольствием, одновременно с которыми двинулись грузовики на Серафимовское, Большеохтинское, Смоленское и Богославское кладбища – а также по направлению к огромному пустырю вдоль старой Пискаревской дороги.

На Смоленском кладбище была одна могила, которую Шура до войны навещала вместе с матерью. Ее покрывали крылья *ангела скорби*, склоненный лик которого с отбитым революционными хулиганами носом был полускрыт каменными власами. В опущенной руке ангел держал черную мраморную розу. Мать сидела на скамейке, задумчиво барабаня по ней пальцами, как будто наигрывая звучащий внутри нее мотив или продолжая печатать доклад отца, готовящегося к международной научной конференции в Риме. А Шура пыталась вынуть розу из длинных, безвольных пальцев ангела, но вещество черного мрамора, из которого была сделана роза, словно пустило корни в вещество белого мрамора, из которого был вытесан ангел, как будто с того момента, как ангел обронил каменный цветок на надгробие, прошли столетия, – сильные невидимые корни устремились сквозь камень в глубь земли, чтобы скорбью, как обручем, скрепить разложение, поддержать прах, и вот все подземное царство мертвых припало к этим живительным корням, как ночь с непроходимыми дебрями лесов и болот судорожно припадает к ослепительной вспышке молнии. . . Шура смотрела то на ангела, сидевшего в позе пушкинской старухи, схоронившей в море и новое корыто, и царские палаты, то на маму, которую предзакатное солнце погружало в невесомую меланхолию. Покрытый малахитовым мхом камень надгробия, как линза из исландского шпата, дважды преломляющая лучи света, согревал ее мыслью о смерти и леденил мыслью о жизни, где ангелы никнут головами и закрывают лица власами, такие наступают времена: в отличие от отца, у мамы было время читать газеты. . . Чей прах скрывали распростертые крылья ангела? Мама так ничего и не сказала Шуре, может, ангел тоже успел угодить в проскрипционные списки. . .

Шура вспоминала эту красивую могилу с розой в ноябре, когда смерть уже не была у жизни на посылках, а, вильнув хвостом, ушла в свободный полет, тогда как ангелы скорби, волоча по разбомбленным дорогам меловые крылья, потянулись вслед за людьми по мифическому коридору, прорубленному 54-й армией со стороны Мги.

В обвальной ноябрьской, декабрьской, январской смерти чувствовалась какая-то оскорбительная для смерти незавершенность, несмотря на ее огромный объем. Она была отлучена от причитающегося ей траурного ритуала и как будто отставлена на потом, отложена в сторону, как человеческие тела в больничном дворе, месяцами лежащие под навесом, спаянные между собою снегом и льдом, высокая обледеневшая поленница, из которой, если б пришел грузовик, мертвых пришлось бы вырубать топорами. В самом низу лежали тела, раздетые и завернутые в простыни или одеяла – ноябрьские мертвецы, выше – мертвые в той одежде, в какой застала их смерть. Земля оказалась слишком мелкой для того, чтобы сразу принять в себя столько умерших, команды МПВО взрывали ее возле старой Пискаревской дороги, опрокидывали в

яму полные кузова смерти, не помещавшейся в землю. Подъезды к кладбищам были завалены замерзшими телами. Мертвые как будто все еще находились в пути к месту своего упокоения, как будто пытались из разных точек города сползтись в ямы, цепляясь друг за друга одеревеневшими конечностями. Такого не было ни в Платее, ни в Потиде, взятых после осады и опустошенных лакедемонянами... Об афинянах было известно, что они по обычаю своих предков совершали торжественную церемонию погребения павших воинов в первый год войны зимой. Останки свозились отовсюду в кипарисовых гробах на повозках. Лишь одна повозка, покрытая ковром, оставалась пустая – для пропавших без вести. Погибших воинов на три дня помещали в шатре, а потом хоронили. Римляне про своих усопших говорили: «Отжившие свое», прибегая к эвфемизмам из страха, потому что мир мертвых был ими тогда еще недостаточно изучен. Далекие, красивые времена, когда в войнах еще не был задействован воздух, небо не было еще приведено в полную боевую готовность...

В январе сосед почти перестал разговаривать с Шурой от слабости, а в феврале пришла бандероль. В тот день Шура вошла в подъезд вместе с почтальоном. Он спросил ее, не занесет ли она бандероль немцу, раз ей все равно подниматься на тот же этаж. Почтальон был укутан в длинный холщовый плащ с капюшоном, его замотанной бабьими платками головы почти не было видно. Он попросил ее расписаться в получении посылочки с фронта, для чего подал ей карандаш. Шура почему-то расписалась левой рукой. Сквозь разорванную бумагу бандероли виднелась фольга. Шуре в голову не приходило, что она съест шоколад одна, но на площадке третьего этажа она машинально остановилась возле своей квартиры, в которой уже четыре месяца как не жила, только заходила в нее за новой порцией паркета, и открыла дверь...

...Впоследствии, вспоминая эту минуту, когда еще действовали законы растянутого времени, ей казалось, что она довольно долго стояла между двумя дверями, как на распутье, но на самом деле запах шоколада быстро сбил ее с толку и привел в ту из квартир, в которой она когда-то ела и шоколад, и многое другое... Шура и думать позабыла про немца. Она просто вступила в другое время – кремовое, цукатное, посыпанное кокосовой стружкой, облитое глазурью, в двадцать пять минут двенадцатого, затаившееся, как запах в витрине кондитерской на Шпалерной...

Съев шоколад, она вспомнила о совершенно целой пайке хлеба и, счастливо улыбнувшись, пошла в логово соседа, потому что именно у него она привыкла есть свой хлеб. Она отрыла немца из сугроба одежды, в котором он прятался, чтобы дать ему кружку кипятка с запаренным в ней одним лавровым листом, случайно найденным среди старых итальянских писем отца, присланных из Рима с проходившей там конференции. Немец открыл глаза и уставился на ее левую руку. Потом медленно стал поднимать взгляд до уровня Шуриных губ, испачканных шоколадом. Веки его как будто замерли. Тут Шура испугалась, что, встретившись с ней глазами, немец увидит внутри нее шоколадку, и, отвернувшись, быстро принялась подкармливать книгами гаснущий огонь в буржуйке. Спустя неделю немец умер, а еще через несколько дней Шура уехала по Дороге Жизни, везя под полой маминой шубы книгу, выпавшую из рук умершего от голода и холода человека...

В судьбах мира *легочники* играют настолько огромную роль, объяснял Шуре немец, заходясь в приступах кашля, что, честное слово, науке давно бы следовало заняться туберкулезной психиатрией, или даже исторической фтизиатрией... По оказываемому ими влиянию на ход истории они далеко превосходят и *шизофреников*, и *сифилитиков*, и больных *гемофилией*, хотя именно эти страдальцы, вольно или невольно, вызвали самые главные потрясения двадцатого века. Чохотка проходит красной нитью через революционное движение, начиная хоть от Чернышевского и заканчивая Дзержинским и Горьким, главные провокации века осуществлялись с ее помощью. Будущее переживало инкубационный период при субфебрильной темпера-

туре, чутко реагировало на некроз в полости легких, на появление в очагах гигантских клеток, уменьшение содержания лимфоцитов в крови и увеличение лейкоцитов. В инкубационный режим революции впрягли огромные пространства – Чернышевского читали от Хабаровска до Лондона, а в Сербии, где процесс образования очагов будущего шел с невероятной интенсивностью, «Что делать?» заучивали наизусть. Будущее прослушивало чахоточника трубкой, простукивало ему грудь, пытаясь понять, насколько сильна в его организме интоксикация и необратим процесс, т. к. благодаря повышенной температуре и сдвигу лейкоцитарной формулы пациент пребывает в постоянном нервном возбуждении, легко переходящем в готовность к самопожертвованию. Самостоятельной роли в истории он играть не может, но из него получается первоклассный исполнитель, который, когда надо, уходит...

Предреволюционный период в России кто-то остроумно определил как борьбу паралитиков с эпилептиками. В те времена, когда эпилептики и шизофреники кроили и перекраивали будущее, туберкулез в редких случаях поддавался лечению, что было на руку руководящей группе больных сверхценными идеями, делающих крупные вклады своих маний и фобий на несгораемые счета энтузиастов, сбитых с толку субфебрильной температурой. В легких одержимых революционным порывом туберкулезников идет процесс освобождения всего земного шара от угнетателей, угнетающих шар, они бросаются в борьбу как в пучину и погибают с «Марсельезой» на устах...

Когда Гаврила Принцип проходил церемонию посвящения в члены тайной организации «Черная рука», в освещенной восковой свечой комнате, посередине которой стоял стол с разложенными на нем револьвером, ножом и крестом, Центральная Управа тайного общества была осведомлена о процессе в легких этого скромного, сумрачного, сутулого юноши. Несмотря на свою выносливость и огромную физическую силу, он был уже обречен. «Черная рука» была организацией внутри организации «Народна Одбрана», возникшей в ответ на аннексию Боснии и Герцеговины – силовую акцию империи Габсбургов, послужившую спусковым крючком австро-сербского конфликта, вызвавшую взрыв возмущения в славянском мире и вялое сожаление в остальных европейских столицах.

Пальба террористов, громовой голос Жореса на Западе и звон кандалов на Востоке, отзвуки локальных революций и незадачливых войн создали такой шумовой эффект, при котором читатель газет, поддаваясь стихийной витальности, невольно вставал на сторону то одной силы, то другой, человеческий голос подпевал музыке нарождающейся революции. История строит свои расчеты в том числе и на звуке, на акустике, на вербальном восприятии, в имени Гаврилы Принципа отразилась звуковая история нескольких предреволюционных десятилетий, как колоссальная симфония в финальном аккорде. Из семи будущих смертников, подготовивших сараевский выстрел, Принцип выбран самой историей, чуткой к фонетической оболочке действительного. Остальные шестеро были не менее отважны и самоотвержены, но их имена слишком сложны для европейского слуха. Имя Гаврилы Принципа легко звучит на всех языках и уже несет в себе идею.

По-видимому, он родился весной 1894-го года. Точная дата неизвестна. Приходской священник заносил в церковный Домовник рождения и смерти целыми списками, чтобы лишний раз не утруждать себя раскрытием тяжелой книги. Гаврила был четвертым ребенком в крепкой зажиточной семье. Шестеро братьев его умерли в возрасте до десяти лет. В двенадцать лет мальчик поступил в сараевскую гимназию, стал лучшим ее учеником. Никто не знал, что он страдает приступами лунатизма. Никто не снабдил его серым агатом, чтобы излечить от этой изматывающей нервы болезни. Иногда он просыпался глубокой ночью, пронзенный странным ощущением, что вот сейчас, не меняя положения тела, стронется с места и поплывет в воздухе... Мальчик отталкивался руками от кровати, чтобы сделать круг по комнате. Собственное тело казалось ему невесомым, как лунный свет, который и поддерживал его над землей. Он

видел предметы так, словно находился над ними на высоте нескольких метров. Это необычное видение потом сыграет свою роль в формировании его взглядов: идеи и предметы, слова и людей он будет воспринимать с заданной детским лунатизмом высоты, как будто тайно проплывает над ними в своей лунной горизонтали. Он жадно пролистывает книги, социалистические, националистические и анархистские брошюры, – в революционной риторике он не видит самого себя, т. е. из ее мнимых глубин не восстает юношеское эго, страстная жажда проявить себя в ярком поступке... Он – какой-то буквальный мечтатель, он и в самом деле мечтает об объединении и процветании Сербии, не облекая родину в свою иллюзорную самость, как другие его ровесники. Горячительные анархистские и националистические коктейли не кружат голову юноши, словам задан порядок будущего, в это он верит. Чистота прочтения, особая зоркость запрокинувших к нему свои плоскости предметов, развернувших перспективу в направлении родной земли, никакой возможности уклониться от поверхности, усеянной ультрапатриотической риторикой, как у лишнего век пленника, вынужденного все время смотреть на солнце. Его душа лишена самолюбия, этой защитной функции юной личности, на которую мир обрушивается всей своей тяжестью, позволяя лишь в двадцать – двадцать пять лет разглядеть скрытые во мраке слов корни мироустройства, приводные ремни истории, механизм личной и социальной выгоды, в просторечье именуемый политикой. Тут еще и туберкулез.

В начале марта пелену хмары, повисшей над Ленинградом, прорвало солнце. Снег стал понемногу оседать, обнажая на улицах мертвых, которых не успели подобрать и вывезти на кладбища. Особенно много их оказалось на обочинах улицы Комсомола, по которой обычно следовали к Пискаревке колонны «ЗИСов», нагруженных окоченевшими трупами с торчащими из-под брезента скрюченными руками, почерневшими ногами, развевающимися волосами... Снег скользил, как ткацкий уток по нитям, поднимая уровень чистого белого савана над теми, кого не успела подобрать похоронная команда, не одолевшими пропасти осенних и зимних месяцев, над кем задернулся стерильный полог, под кого снег, как заботливая нянька, подоткнул ледяное одеяло. Этого материала, снега, было в ту зиму хоть залейся, мертвые лежали слоями, пересыпанные слоями снега, гарантировавшего им сохранность до весны, по ним были проложены тропинки в снегу. По такой тропинке Шура с одним выздоравливающим солдатом приволокла на больничный двор на фанерном листе своего умершего соседа, зашитого в одеяло, и там пристроила его крайним в нижнем ряду... Теперь, когда пригрело мартовское солнце, поленница подобранных на улицах трупов росла не по дням, а по часам. Мертвых надо было охранять от еще живых. Иногда поступали трупы, изрезанные ножами, с отсутствующими частями тела и внутренних органов. В таких случаях вызывали следователя. Строго секретная записка прокурора блокадного города на имя секретаря горкома о случаях людоедства, рисуя с казенной бесстрастностью портрет человека, доведенного немилосердным голодом до полной потери человеческого, гласила: более женщина, чем мужчина, на 98,51 % беспартиен, на 4,5 % служащий, на 0,7 % крестьянин. В прошлом судим – 2 %. С высшим образованием 2 человека, – всего 2 почти на тысячу случаев. Ленинградец лишь на 14,7 %, в остальном уроженец других мест. Записка помечена февралем 1942 года – «пик отчаяния, время предельного истязания голодом, время голодного безумия...».

Что еще можно сказать о снеге, этом побочном продукте блокады, не похожем ни на один снежный покров, на который из-за седых туч струился жемчужный свет? На карте Генерального штаба, когда фронт проходил от Ленинграда по реке Волхов, восточнее Старой Руссы, огибая с востока район Демьянска, крохотные флажки, передвигающиеся то в сторону ржевско-вяземского выступа, то подступая к Мценску, оставляли на карте незаметные птичьи следки, тогда как на всем пространстве блокадного города их не было и в помине... Птицы покинули город, и это замечено было не сразу. По снегу тянулись лишь тяжелые человечьи

следы. Не было легких птичьих царапин, важных шпажистых отпечатков, тонкой лилиеобразной клинописи. Картина снега была нема.

Все пернатые, окутывающие предрассветные деревья оживленным гомоном, весело тренькающие под стрехами домов, пересекающие прямую перспективу головоломными трассами, чирикающие на подоконниках, в какой-то таинственный зимний час исчезли в складках воздуха (что позже было отмечено Шурой), унося в пуховых горлышках свой волшебный инструментарий, звонкие бубенчики, чистые колокольчики, серебристые ксилофоны, хрустальную челесту, – как оркестранты Ленинградской филармонии, особенно духовые, которые из-за физической немощи один за другим покидали сцену, поскольку диафрагме не на что было опереться; на репетицию Ленинградской симфонии Шостаковича барабан не смог прийти, первая скрипка, доведенная до дистрофии, упала посреди улицы, валторна отбыла с колонной эвакуируемых по Дороге Жизни... Птицы покинули город, должно быть, давно, но только сейчас обнаружилась нехватка этих легких следов существ, с которыми люди делили землю и воздух; кстати сказать, глупые голуби были пойманы и съедены еще в октябре, а прочие пернатые, не ожидая дальнейшего развития событий, легли на крыло и полетели на Велиж, Демидов, Волочанск. Траурные птицы не кружили над поленницей мертвых, доставлявшихся с ближайшей улицы Желябова и Шведского переулка, как это случалось прежде на великих полях сражений, только белые маргаритки снега кружили и кружили над жемчужным пространством города.

15 июня 1911 года студент Жереич совершил покушение на военного губернатора Боснии и, преследуемый полицейскими, застрелился. Белградская пресса объявила его национальным героем, отомстившим угнетателю сербов. Пять выстрелов Жереича в разряженном воздухе еще не оперившейся катастрофы подняли мощную волну, под сурдинку которой и происходит тайное созревание «Черной руки» – кабинета теней, взявшего на себя миссию осуществления национальной идеи, которая потихоньку снимет леса с уже почти готовой войны. Лунная тема начинает звучать в жизни Принципа с пронзительной силой. Ночами он просиживает на могиле Жереича. На безымянном деревянном кресте перочинным ножиком вырезает имя, ставшее для него заветным. Высаживает на могиле маргаритки.

Возможно, юноша был не единственным, кто проводил ночные бдения на могиле героя. Возможно, время от времени целый десант юношества высаживается по ночам на могилах героев, а днем отсыпается на гвоздях, как заповедал Рахметов. Молодежь как ночная роса выпадает на кладбищенские маргаритки. Но проходит время высоких бессонниц и пира Луны, и она возвращается к источнику жизни, Солнцу. Заброшенные могилы героев оживают по случаю национальных торжеств, с перезахоронением останков, трансляцией речей записных логографов, Бетховеном в первых рядах, приспущенными национальными флагами, обитыми бархатом гробами на лафетах, дальними родственниками в черном драпе и крепе, морем цветов, широкомасштабными народными празднествами, сразу за которыми грядет еще одна грабительская экономическая реформа, предложенная бывшими ночными посетителями героических могил. Но Принцип так и не уйдет со своей (Жереича) могилы, пустит в ней корни наравне со своими маргаритками. Могила Жереича под его любящим взглядом лунатика и жутким присмотром полной Луны развернется в колоссальные европейские пространства, засеянные телами героев, воинов, мирных граждан, стариков, женщин и детей, в интернациональное кладбище, над которым ночные птицы, облеченные в черный креп и драп, совершают лунатический дозорный полет.

В это время Гаврила Принцип познакомился с девушкой, имя которой никому не открыл, и полюбил ее на всю жизнь. Он ни разу не поцеловал ее, потому что молодым патриотам категорически воспрещались подобные вольности, и потом всю свою оставшуюся жизнь, особенно

в тюрьме, жалел об этом. Возможно, она отвечала ему взаимностью – смуглый юноша был красив и глаза его поражали выражением страстной и угрюмой мечтательности.

На могиле Жереича он похоронил свою мечту о любви, и похороненная мечта принялась в земле наравне с цветами, в букет из которых один из заговорщиков в роковой день убийства Франца-Фердинанда спрячет бомбу. Принцип не хочет прославиться, он мечтает отдать жизнь «за так». Начинается первая Балканская война, и он пытается уйти на нее добровольцем. Но не тут-то было. Один из руководителей «Черной руки» настоятельно просит его побережь себя для будущего. Он дает Принципу понять, что тот может пригодиться родине для террористического акта. Принцип переезжает в Белград, вступает в члены «Народной Одбраны» и «Черной руки». Он старается по-прежнему вести замкнутый образ жизни, но на него даже белградская аристократия положила глаз. Юноша очень умен, и в нем нет никакой позы, что говорит о благородной прочности его природы.

В 1912 году некая масонская организация направила эрцгерцогу смертный приговор. Приговор был составлен в таинственных выражениях, в нем говорилось: «Эрцгерцог не будет царствовать. Он умрет на ступенях трона». (Эта фраза, как ни странно, понравилась самому приговоренному, он ее часто цитировал). На обороте приговора, чтобы совсем сбить с толку престолонаследника или чтобы показать ему, что за масонской организацией стоят какие-то иные силы, каракулями было выведено известное «заклятие Лазаря, князя Сербского: *«Кто не выйдет на Косово поле биться – не родится ничто в его руку: ни пшеница белая на поле, ни лозница вишняя на склоне»*. Эта приписка повергла Франца-Фердинанда в еще большую задумчивость, чем приговор. При чем тут Косово поле? При чем битва с турками? Может, какой-то доброхот, которому было поручено отправить ему приговор, написал «заклятие Лазаря», чтобы удержать его от посещения Сербии? Или, напротив, приписку сделал патриот в роковой для сербов день 28 июня, когда произошла битва на Косовом поле?.. Ни с кем, кроме жены, Франц-Фердинанд не поделился предупреждением неизвестного, зато насчет «ступеней трона» любил поговорить в обширном семействе Габсбургов, состоящем из восьмидесяти эрцгерцогов и эрцгерцогинь, относившихся к нему крайне настороженно, если не враждебно. Он знал, что многочисленная родня ни о чем другом не говорит с такой охотой, как о психической болезни престолонаследника, действительно страдавшего припадками неумеренного бешенства, – как-то раз на охоте он застрелил своего лейб-егеря. Женидьба эрцгерцога на графине Хотек, не принадлежавшей к царствующему дому, в придворной табели о рангах стоявшей ниже самой бедной из Габсбургов, была лакомой темой для семейства, что особенно выводило эрцгерцога из себя. Его любимую Софию даже не приглашали на придворные обеды. К ней питал дружеские чувства только Вильгельм II, он один поддержал женидьбу престолонаследника, и не надо обладать большой проницательностью, чтобы понять, почему он это сделал... Если бы Франц-Фердинанд, замороженный красивой фразой из приговора, заставил себя глубоко вдуматься в причины симпатии Вильгельма к Софии, то наверняка углядел бы в приписке на обороте немецкую руку.

Еще было светло, но в швейной мастерской на улице Думской, мимо которой лежал путь Шуры, зажгли коптилки. Там неутомимые швеи кроили и вышивали красные боевые знамена для нашей грядущей победы, втыкали бессонные иглы в тонкую ткань, натянутую на большие пальца, крохотными стежками продвигая линию фронта в сторону заходящего солнца. Шелковой волной гнали флажки-стежки от одного населенного пункта к другому, по гладкой, как лед, карте Генерального штаба, перед которой с одной стороны усаживались военные лицами к большим портретам Суворова и Кутузова, а с другой – члены Политбюро, иглой-ворожкой протыкали насквозь шведских ярлов, тевтонских рыцарей, татаро-монгольские орды, шляхтичей, полчища Наполеона, армию Франца-Иосифа, золотистой канителью расшивая историю,

нанесенные на ткань светлой гуашью портреты вождей, эмблемы и лозунги... Когда одна швея сваливалась с ног от изнеможения и голода, ее тут же сменяла другая, вынимая из окоченевших пальцев подруги бессонную иглу с неиссякаемой нитью, готовящую великий прорыв за Ладогой, где пролегал путь из варяг в греки, Дорогу Жизни – ВАД-102 через остров Зеленцы, Кобону и Лаврово, Борисову Гриву и Жихарево в Вологду, Ярославль, Курган. Швеи не спускались в бомбоубежище, когда начинался артобстрел, определяя на слух: бьет по городу восьмидюймовка или шрапнель, торопливо съедали хлеб с намазанным на него клейстером или кашей, вопреки приказу не носили с собой на работу противогазы, собирая по пути в пустую сумку палки, щепки и бумагу, чтобы согреться, ни на минуту не отвлекались от дела, чтобы не прервалась разматывающаяся в сторону Берлина нить, потому что знали, что бег иглы не менее действенен, чем скольжение сталинской указки по начинавшей оттаивать карте Генерального штаба, в которой отражались наши победы. Шесть вышивальщиц умерли в эту зиму, но уцелевшие бессонной иглой шили алый саван для дивизий Гудериана и группы армий «Север», для вражеской пехоты и авиации, кораблей и танков.

Если Принцип привлекал к себе сердца людей, то старший по возрасту эрцгерцог был начисто лишен обаяния и очень страдал от этого. Он не умел смотреть человеку прямо в лицо, даже в банальном разговоре уводил глаза в сторону, словно боялся что-то увидеть в глазах собеседника. Франц-Фердинанд всю жизнь горячо мечтал о своей популярности в народе, о том, как его однажды оценят и полюбят жизнерадостные венцы и общительные славяне, Принцип, – напротив, не только не желал быть известным большому кругу людей, но мыслил о себе как о безымянном орудии мщения, что когда-нибудь послужит на пользу родине. Во всем остальном они были похожи, как бывают похожи меж собой жертвы, каковыми оба, по сути, и являлись...

На совещании в Тулузе кандидатура австрийского престолонаследника возражений не вызвала. Другой вопрос – как до него добраться? Убить Франца-Фердинанда в Вене – задача невыполнимая. В это время в австро-венгерских газетах проскользнуло первое сообщение о том, что эрцгерцог Франц-Фердинанд собирается посетить Боснию, – расплывчатое, туманное, в нем не указаны ни цели, ни сроки будущей поездки. Принцип дает свое согласие на подготовку покушения. Газеты пишут, что престолонаследник намерен посетить военные маневры в Боснии с инспекцией вооруженных сил Австро-Венгрии. На ловца и зверь бежит.

Подготовка покушения велась как в Белграде, так и в Сараево. В Белграде Принципа и его друзей – Трифко Грабеча и Неделько Габриновича – снабжают оружием, деньгами и ампулами с цианистым калием, которым заговорщики должны умертвить себя после убийства эрцгерцога, чтобы, если их схватят, не выдать своих связей с «Черной рукой». В Сараево тоже составляется группа из четырех человек, таким образом, заговорщиков уже семеро: кто-то из них, да не промахнется.

Спустя два месяца после убийства Франца-Фердинанда Гаврила Принцип скажет на суде, что в их путешествии в Сараево «было что-то таинственное»... Почему он так сказал? Он не мог не знать, что вся Сербия, как и Босния, покрыта частой сетью «поверенников» – доверенных лиц «Народной Одбраны»: таможенниками, которые услужливо проводят троих заговорщиков до австро-венгерской границы, служащими пограничных участков, делающих им фальшивые документы, крестьянами-проводниками, школьными учителями и священниками, предоставлявшими в их распоряжение свой кров, лодочниками, переправлявшими их через реку, – тем более что в Белграде трех юношей заверили, что они перейдут границу по подземному каналу, прорытому между сербской границей и австрийской территорией... Но последнее – метафора. «Подземный канал» – это безотказные услуги тех самых лодочников, таможен-

ников, железнодорожников, купцов, офицеров австро-венгерской армии, дезертировавших в Сербию, боснийских крестьян, обученных походной службе, стрельбе, взрыву мостов, разрушению железнодорожных дорог, телеграфных и телефонных линий, курьеров, переправляющих оружие из Сербии в Боснию и Герцеговину, духовных лиц, служащих банков, булочников, башмачников, фармацевтов, осуществлявших шпионаж на территории Двуетидной монархии, студентов, аптекарей и комитаджей, занятых в лабораториях «Народной Одбраны» изготовлением бомб, стрелковых обществ, сокольничих лиг, олимпийских клубов, охотничьих и кавалерийских объединений. Говорили, что «подземный канал» существовал на средства богатых сербских купцов и промышленников, щедро вкладывавших капитал в энтузиазм патриотов.

На каждом участке пути их встречали и провожали «поверенники», а сербские полицейские, едва завидев трех парней с котомками за плечами, смотрели в другую сторону, крестьяне затыкали себе уши, чтобы не слышать, как молодые люди тренируются в стрельбе, во все горло распевая старинную песню побратимов по разведке: *«Брат мой названный, Иван Косанчич, ты разведал ли войско у турок? Велико ли турецкое войско? Мжемл мы с рками сразиться? Мжем ли ворога осилить?»* Отвечает Иван побратиму: *«Брат любимый, Милош мой Обилич, я разведал турецкое войско. Велика у турок сила – коли солью мы все обернемся, обед туркам посолить не хватит»*... Те, кто предоставлял им ночлег, отворачивались от вываленного на стол оружия, пограничники укладывались спать еще в сумерках, чтобы не смущать заговорщиков, переходивших границу в темноте. Они ехали на поезде, плыли на пароходе, снова пересаживались на поезд, переправлялись через реку на лодке, тряслись в фургоне для мяса, прятались в повозке с сеном, а по территории Боснии какую-то часть пути проделали пешком с тяжелой ношей за плечами, среди непроходимых лесистых дебрей, шатких болотных кочек, едва освещенных светом луны, темных оврагов... Когда стало рассветать, изнеможенные дорогой путники улеглись в яму, чтобы немного отдохнуть, и Принцип, прежде чем сомкнуть глаза, вдруг увидел, как края ямы съезжаются над ними, словно земля хочет поглотить их, но он не помнил себя от усталости и провалился в сон...

В Международный Женский день объявили воскресник. Шура с выскальзывающей из рук лопатой расчищала дворик, где стоял бронзовый памятник доктору Рентгену, обезглавленный осколком снаряда. Из-под снега Шура откопала лысую с бронзовой бородой голову и ногой подтолкнула ее к постаменту. Это все, что она в силах была сделать для знаменитого доктора, когда-то давным-давно выставившего в книжном магазине города Вюрцбурга первую рентгеновскую фотографию кисти руки, на которую ходили смотреть как на чудо. Быстро утомившись от непривычного труда, Шура положила на снег лопату и пошла в родную больницу поесть горячей, забеленной мукой воды, после чего отправилась домой – собирать вещи. Утром ей выдали на руки эваколист, с которым надо было к полуночи явиться на Финляндский вокзал. В лист хотели вписать город Курган, но Шура решительно воспротивилась этому, сказав, что у нее есть тетка в Москве.

Читая по вечерам доставшуюся ей от соседа книгу, Шура мысленно прощалась с городом, сожженным временем, и думала о другой книге, внутри которой жила она, поступь которой она чуяла в звуках далекой канонады, предобморочном хрипе черного репродуктора, пейзаже за окном, оклеенном скрещенными газетными полосами... В километры алого шелка закатают снега, укрывшие мертвых, затарят ими шрифты, покрытые типографской краской, в линотип утрамбуют поля сражений, легендарные прорывы, безымянные высоты, сровненные с землей города, блиндажи, выкопанные в отложениях девона, и история в очередной раз совершит кавалерийский прорыв в будущее, рдеющее вдали, как знамя осажденной крепости, – только что станет с нею, когда пригреет сильное солнце и растают выпавшие на снег буквы?..

Если восстановить все события, начиная с февраля 14-го года, создается впечатление, что убийца и жертва действовали заодно, в едином ритме, шли рука об руку каждый к своей цели, чтобы один мог убить, а другой стать убитым. День, когда это должно было осуществиться, был единственным днем в году, когда Принципу ничто не могло помешать убить намеченную жертву, а Франц-Фердинанд никак не мог остаться в живых. 28 июня было днем национального траура, годовщина битвы на Косовом поле, в 14-м году совпавшая с праздником святого Вита – Видовданом. В этот день погиб князь Лазарь и умер от жестоких пыток Милош Обилич, попытавшийся убить предводителя турок. В этот день посещение австрийским эрцгерцогом Сараево сербы не могли не воспринять как провокацию и оскорбление их национальных чувств. Это прекрасно понимал и Франц-Фердинанд, тем более что администрация Боснии-Герцеговины предупредила его, что ему не следует посещать Сараево в условиях роста сербской ирриденции в аннексированных провинциях. Он был бы и рад отказаться от поездки, но после того, как о ней оповестили газеты, побоялся прослыть трусом.

Эрцгерцог делает движение, чтобы как-то защитить себя, просит сараевских чиновников принять меры, обеспечивающие ему безопасность. Сараевская администрация отвечает престолонаследнику, что обеспечить его охрану представляется затруднительным, так как войска сосредоточены на маневрах, и предлагает ему следовать по городу в ландо, чтобы его мог сопровождать и охранять эскадрон лейб-гвардии. Принципа снабжают браунингами. Пока он тренируется в королевском парке Белграда в стрельбе, в Сараево приходит категорический отказ эрцгерцога ехать в ландо: он проедет по городу в открытом автомобиле, за которым конница стройными рядами следовать не могла. Оказавшись в Сараево, Принцип участвует в бесконечных конференциях заговорщиков с боснийской молодежью и местными жителями, а эрцгерцог встречается в Конопиште с императором Вильгельмом, и между ними происходит странный разговор... Вильгельм говорит Францу-Фердинанду, что после *военного разгрома* Франции и России будут созданы два королевства: в состав одного войдут земли от Балкан до Черного моря, а другое составят Чехия, Венгрия и Южно-Славянские земли с Салониками. После смерти Франца-Фердинанда эти королевства будут федеративированы с германской империей и перейдут к его детям, а его брат Карл-Франц получит лишь немецкие земли Австрии... Итак, Вильгельм уверен, что вот-вот начнется война, и, возможно, догадывается, *что* послужит поводом для нее. Во всяком случае, он активно приветствовал поездку эрцгерцога в Боснию, говоря, что его супруге надо как можно скорее познакомиться со своими будущими подданными.

25 июня Франц-Фердинанд с военного катера высаживается в городе Меткович, оттуда едет по железной дороге в столицу Герцеговины. 25-го вечером Франц-Фердинанд с женой в частном порядке приехали в Сараево за покупками... Они ходили из магазина в магазин, население приветствовало супружескую чету радостными криками. Принцип стоял в толпе. Один раз он мог даже дотянуться рукой до своей будущей жертвы. Надо думать, юноша проклинал себя, что забыл взять оружие, ведь в этот день Франц-Фердинанд был без охраны... 26-го эрцгерцог отбыл в окрестности Тарчины на военные маневры, а Принцип трижды безуспешно пытался пробраться в отель в Илидзе, где остановились престолонаследник с женой. 27 июня Габринович отправляет своему другу прощальное письмо: «Накануне своей смерти желаю Вам и Вашей жене всякого счастья в новой объединенной родине»...

На дороге к Сараево и в самом городе по пути следования эрцгерцога была устроена цепочка засад. В Илидзе в доме одной старушки позже обнаружится целый склад бомб... В Быстрине, куда намеревался заехать Франц-Фердинанд, нашли в кустах спрятанную бомбу. Под верхней доской стола, за которым он должен был завтракать, была прикреплена адская

машина с заведенными часами, другую потом нашли в дымоходе апартаментов, где эрцгерцог предполагал переночевать.

В утро 28 июня убийца и его жертва как будто вслепую ищут друг друга. Принцип занял самую удобную позицию по пути следования кортежа эрцгерцога, но его опередил Габринович, бросив букет цветов с запрятанной в него бомбой прямо на колени Францу-Фердинанду, который успел вышвырнуть ее из машины... После этого инцидента эрцгерцогу следовало бы прервать поездку по городу, но он только изменил маршрут. Принцип поменял позицию, и они могли бы разминуться, если б машина, возглавлявшая кортеж, не свернула в переулок. Переулок был узким, образовалась пробка: Принцип подошел вплотную к автомобилю Франца-Фердинанда и выстрелил. На него набросились полицейские и повалили на мостовую; он пытался проглотить заготовленную ампулу с ядом, но руки у него уже были связаны.

На судебном процессе, который открылся уже после того, как началась война, Принцип пытался всю вину за организацию заговора взять на себя. Юношу не повесили только потому, что была неясность с датой его рождения. Священник, сделавший запись в Домовнике, не мог дать точного ответа, исполнилось ли обвиняемому двадцать лет. Смертной казни в Боснии подвергались преступники, достигшие двадцатилетнего возраста, и Принципа приговорили к двадцатилетнему тюремному заключению.

Мир забыл о юном гимназисте прежде, чем за ним затворились тяжелые двери крепости Терезиенштадт. Принцип умирал медленной смертью от голода и гноящихся ран, полученных им после убийства эрцгерцога. Шла война, и населению Австро-Венгрии не хватало военных пайков, что уж говорить об узниках. Несмотря на физические муки, он часто бывал в приподнято-поэтическом настроении, жил внутри своей грезы о родине, о девушке, о Жереиче, оставив за спиной историю с застывшими фигурами «отживших свое», увлекаемых на покрытых коврами повозках, из которых одна предназначалась для без вести пропавших, безвестных, всеми забытых – пустая, но она, увы, не для Гаврилы Принципа.

Шура отправилась на Дорогу Жизни почти налегке. Из вещей на память о соседе-немце прихватила книгу. Еще нацепила веревочку на мамину пудреницу и повесила ее на шею наподобие медальона. В пудренице давно ничего не хранилось, кроме мамино отражения, если оно, конечно, уцелело...

Пассажирами поезда, который следовал к Ладогe, были дети. Одна девочка, закутанная во взрослый овчинный полушубок и в шапке-ушанке, из-под которой остро несло скипидаром, прибилась к Шуре и в поезде задремала на ее плече, не выпуская из рук узелок. На всех детях было столько одежды, что они казались прежними, упитанными детьми, лиц было почти не видно, но Шура знала, как выглядят эти скелетики с проваленными глазами, ввалившимися щеками, тонкими кистями рук и блестящими, красными шарами суставов. Слишком часто их приносили в больницу.

Поезд подошел к Ладогe. Пассажиров закутали в одеяла – путь предстоял ледяной, пересаживали в машины, покрытые брезентом, и они покатали по гладкому, как горный хрусталь, льду. Над ним в ночи на большом расстоянии друг от друга висела цепочка огней, кое-как освещавших трассу. Только у рокового девятого километра, где лед змеился опасной трещиной и саперы без конца наводили новые переправы после того, как несколько машин вместе с людьми ушло на дно, огней было больше. Они мигали в воздухе, как далекие звезды. На самом деле вдоль тридцатикилометровой трассы стояли девушки-регулирующие с фонарями «летучая мышь», их стекла на ветру быстро закоптевали, поэтому близкие огни казались далекими, как звезды. Навстречу колоннам с пережившими эту зиму людьми ехали машины с Большой Земли. Они везли сухие фрукты, сыр, яичный порошок, муку, мясо, витаминную кислоту, рыбий жир, сахар, орехи – еду, которую Ленинград последний раз видел в ноябре, изобра-

женной на сброшенных немцами листовках с призывом сдаваться, сдаваться этим пышным маковым бубликам, свежим гамбургским окорокам, упитанным саксонским коровам, предлагающим консервированное и сгущенное молоко, гирляндам швабских сосисок, желтому силезкому сыру... Нарисованная еда страшно кружилась в воздухе, как спиритический столик, накрытый душами усопших, а над ней сидели летчики в шлемах, сверху дергая за веревочки саксонских буренок и потряхивая связкой баварских баранок, едой без вкуса и запаха, нарисованной, как огонь в очаге папы Карло (тоже немца?). Выпав, как снег, нарисованная пища ушла под снег ноября, и с тех пор никто в Ленинграде не видел ни сгущенки, ни сухих фруктов, ни сыра, оставшихся по ту сторону Ладоги...

Свет карманного фонарика разбудил Шуру уже в Лаврове. Военный, посветивший ей в лицо, спросил: «Идти можешь?» Шура указала ему на привалившуюся к ней девочку с узлом. Военный сказал: «Твоя сестренка умерла». И протянул Шуре выпавший из рук девочки узелок. В эвакуационном пункте Шура поела пшеничную кашу с хлебом, после чего развязала узелок, чтобы посмотреть, что за наследство оставила ей умершая девочка. Это была малахитовая шкатулка.

2

ЛУЧ И КАМЕНЬ. В шкатулке оказалось несколько старых фотографий, на которых были запечатлены, по-видимому, родные и близкие умершей девочки. При первом же взгляде на эту шкатулку Шура (дочь геолога) поняла, что она изготовлена старинным умельцем из яснополосчатого бирюзового малахита в те времена, когда мозаику подбирали и наклеивали не на металл, а на мрамор. Рисунок на шкатулке был подобран так умело, что в нем не чувствовалось плоскостного изображения. На атласных лепестках каменной *розы* задержался луч, который осторожно подбирался к туго спеленатой в бутоне жгучей архитектуре цветка, пронизанной жаром и алым мраком подземных глубин. Малахитовая роза была похожа на ту, которую обронил ангел скорби, торопливо покидая Смоленское кладбище по фантастическому коридору 54-й армии. Она невесомо парила над гладью, полированной жженой костью. В книгах отца Шура читала о таких удивительных вещицах – о многослойном сардониксе, оправленном в перстень, на котором Диодор Самосский вырезал лиру, окруженную роем пчел, об агатовой заколке Клеопатры с жуками-скарабеем, танцующими вокруг колоса ячменя, о пейзажной яшме вавилонских гробниц, естественным образом передающей леса, реки, водоросли, горы, облака... Но шкатулка, доставшаяся ей от неизвестной девочки, оказалась еще чудеснее. Стоило немного повернуть крышку, и роза заволакивалась диковинными *деревьями*, еще один поворот – и на нижнем ее лепестке появлялся *заяц*... Вращая шкатулку в руках и вглядываясь в переплетение узоров и пятен, можно было увидеть также *крокодила, оленя, ястреба, куницу, русалку*. А если шкатулку подставить под косой луч солнца, из глубины всплывет новая вереница образов: *восьмиугольные часы на подставке с львиными лапами, сфинкс, плетущий паутину паук, длинный меч с рукояткой, похожей на лиру, хрустальная чаша*... Выложенные неведомым уральским умельцем знаки ходят по кругу, поднимаемые солнечным лучом на поверхность.

Наверное, бывшая хозяйка шкатулки примешивала этот малахитовый калейдоскоп к своей блокадной иждивенческой пайке, как Шура к своей трудовой – горячечный бред немца, что и позволило им обоим дожить до весны. Но малахит на человека навеивает меланхолию, несмотря на увлекательный театр теней, сошедших в него, как души героев в Аид, о чем, скорее всего, не знала девочка, схороненная в братской могиле в Лаврово. Этот камень, радуя глаз, придавил ее детское сердце.

...Что можно было увидеть под микроскопом отца в косом срезе кристаллов малахита, кроме лавандово-серых пятен на зеленых стрелах кремнистой меди, черных жилок, окруженных светло-зеленой каймой, лазоревых теней, бархатных переливов болотного цвета и изумрудных зерен? Стоит чуть повернуть площадку микроскопа, как вся мозаика перегруппировывалась в другом порядке... Отец рассказывал Шуре, что можно увидеть за изумрудным, нефритовым, цирконовым переплетом, за мшистыми малахитовыми джунглями, освещенными замороженным солнцем, если зрачком (похожим на оникс) погрузиться на глубину сотворения мира... Земля расступится, и ты увидишь в районе Нижнего Тагила море. Из обломков раковин на дне его уже отложились известковые осадки. Это было в палеозое, когда все типы животного царства уже имели своих представителей. Позже, в карбоне, на месте моря началось горообразование: толщу осадков смяла и разломала лава, идущая к вулканам, часть ее, не дошедшая до поверхности земли, застыла, и из нее выделились некоторые минералы – полевой шпат, роговая обманка и слюда. Оставшийся расплав в глубинах, где давление и температура очень высоки, растворил известняк, но некоторые минералы – магнетит, железная руда и ряд сернистых металлов – проделали в известняке трещины: полосы скановых руд, которые горообразующие усилия вынесли на дневную поверхность. Примерно 250 миллионов

лет назад, когда вымерли многие палеозойские животные и должны были появиться млекопитающие, весь Урал попал в область интенсивного выветривания. За счет известняков образовались кремнистые породы, а за счет скановых – мартитовые руды, которые окислились при выветривании и перешли в медный купорос, взаимодействующий с известняком, в результате чего формировался *малахит*.

Он выделяется в пустотах рудной породы в форме натечков, иногда больших глыб... Ученые Средневековья полагали, что различные области нашей Земли подвержены влиянию пяти известных к тому времени планет, которые в свою очередь концентрируют свою магическую силу в минералах. Если это утверждение справедливо, то магию нашего города, объяснял отец Шура, города, рожденного из испарений болот и туманов, определяет именно малахит... Отражательная способность его чрезвычайно низка, вот почему, наверное, этот край погружен в меланхолическую грезу... К тому времени, когда один сильный человек прорубил окно из Скифии в Европу, произошло открытие уральских месторождений малахита, и знатные переселенцы из Московии старались перещеголять друг друга великолепием убранства своих домов. Пока малахита было мало, он шел только на броши, подсвечники и шкатулки, когда же появились крупные куски, его стали использовать как декоративный материал. Малахитовой плиткой покрывали каминные, колонны, вазы, столешницы. Это было очень красиво. Но чем дальше безвестные мастера протягивали узор малахитового натечника, разворачивая отпиленные пластинки по принципу «гармошки», через Исакий и Эрмитаж к домику Петра, тем больше грустнел город, целыми кварталами и улицами перетекая в архитектуру, в книги, в литературу, насильственную перепланировку и переименования улиц, целыми кварталами и домами перетекая в проскрипционные списки. И вот, наконец, пришло время, когда город, невзирая на мужество и стойкость его защитников, стал переходить в зиму с ее предельным истязанием холодом, голодом, безумием бомбежек и обстрелов, которых не вынесла хозяйка малахитовой шкатулки.

Весной 42-го года по московскому радио объявили о начале приема в хореографическое училище.

«Пойдешь на просмотр, – объявила Шура Наталия Гордеевна – теть Таля, родная сестра ее матери, приютившая вывезенную из блокадного города Шуру. Она работала аккомпаниатором в Большом театре. – Для балетных спектаклей нужны дети, а большинство воспитанников училища эвакуировались в Васильсурск. Сколько лет ты занималась в балетной студии?.. Тебя могут зачислить в пятый класс по хореографии и в восьмой по общеобразовательным».

За время блокады Шура успела забыть все, чему когда-то училась, все па и координация движений, которым обучала ее Ольга Иордан, исчезли из ее мышечной памяти. Но в голосе тети Тали звучали фанфары. Подумать только: нужны дети. Они нужны, с этим не поспоришь. За неимением других гостей, их, детей, можно пригласить хотя бы на маскарад у Флоры, потому что спектакли на сцене филиала Большого театра на Пушечной возобновились еще полгода назад, а *гости* эвакуировались прямо с бала Флоры в Куйбышев. На балетных спектаклях дети тем более нужны: шесть белоснежных *невест* для «Лебединого», шесть серебристых с блестками на головках *дриад* к третьему акту «Эсмеральды», десять красных *маков* и десять желтых *лотосов* в черных бархатных лифах и трусиках в мелкую зеленую оборочку из тюля для «Красного мака»; нужны *одалиски* в шальварах, с покрытыми драгоценными камнями поясами для «Бахчисарайского фонтана», нужны *сильфиды* в одноименном балете для общей коды – одни вылетят из первой кулисы в движении тан лева, другие – из второй перекидными жете... А те из невест, сифильд и одалисок, которые пока не в силах встать на пальцы и сделать позу с деми-арабеском, сгодятся на роль *цыгана* с медведем, например, в том же «Петрушке», или на

роль *королевы-матери* в том же «Лебедином», которая на сцене только простирает руки вслед принцу или кланяется фанерным гостям...

Но взгляд тети Тали был полон вдохновения. Ее цели всегда имели общегосударственный масштаб, и перед ними никли личные устремления. Позиции любимого ею балета, гнездившегося на чистой условности и призрачности романтических сюжетов, еще лет двадцать назад были весьма шатки, но тетя Таля, будучи всего лишь акомпаниатором, не посягала на идеологию пролетариата, как принц Дезире или принцесса Аврора, де Бриен или Раймонда. Тем более что, пока композиторы искали реалистические сюжеты для новых балетных спектаклей, можно было использовать достижения «русских сезонов», в частности, Стравинского, порвавшего с традиционными формами *ра d'action* – адажио, вариациями и сюитой и создавшего партитуру по принципу контрастного чередования живописно-пластических состояний, что было близко к гигантским петроградским мистериям, проходившим на фоне арки Главного штаба или Фондовой биржи, и к первым красным балетам Дешеева и Корчмарева с их «физкультурной» хореографией и невразумительной музыкой. Несколько позже балеты Глиера и Асафьева продемонстрировали возвращение блудного сына в *ра d'action* и дивертисмент, изображавший борьбу двух сил, опробованных Чайковским еще в сцене феи Сирени и Карбос. Все встало на свои места. Балет уже не гнали, как прежде. Балеринам снова было что танцевать, кроме лебедей и вилисс. Появился Прокофьев.

Тетя Таля, подкрепляя свои слова делом, с блаженным выражением лица наигрывала Шуру «бег» Джульетты, эксцентрическую тему Меркуцио, синкопированную мелодию Танца Рыцарей, застывающее остинато лейттемы «напитка»... Против этой музыки трудно было возразить, тем более что Шура, как дочь исчезнувшего в шурфах «Крестов» человека, должна была позаботиться о том, чтобы как следует внедриться в массовку на Флорином маскараде, чтобы закрепиться в этом мире, с подмостков которого потихоньку сходил война, помешавшая власти как следует разобраться с ней, дочерью врага народа, и предоставившей разобраться с Шурой зиме 41-го – 42-го года. Но зима та прошла, умчалась в просветленные края памяти. А пока Шуру кто-то должен был держать крепкой рукой, как фигуру из фанеры на маскараде у Флоры, к тому же у нее перед глазами был пример – тетя Таля, которая вместе с Шуриным отцом могла бы легко угодить в проскрипционные списки, но ее удержала крепкая рука мужа – знаменитого придворного фотографа...

Федору Карнаухову позировала вся партийная элита. На стенах квартиры тети Тали, как охранные грамоты, висели снимки Ленина в кепке парижского клошара, Кирова в пиджаке и Орджо в гимнастерке, легендарного Камо, для которого будущее *было* реальнее настоящего, Скворцова-Степанова с Демьяном Бедным (оба с удочками в руках), Подвойского на капитанском мостике эсминца, с которым пятнадцать лет тому назад соседствовали взъерошенные Троцкий и Шляпников, прибывшие прямо с икс-съезда, вскрывшего их антипартийную позицию, позже замененные методом фотомонтажа молодым Микояном...

В совсем далекие времена перед зеркальным квадратом видеоискателя простейшей камеры – черного ящика со стеклянным глазом, треногой и рыжей резиновой грушей, приложенной к затвору – проплыла эпоха, требующая от фотографа огромной, с полминуты, экспозиции: Лев Толстой в кресле перед фонографом, наговаривающий в трубу знаменитый памфлет «Не могу молчать!», Станиславский в черной пелерине, Вера Холодная в простом домашнем платье с чашкой в руке, Александр Блок в пальто с прозрачными и скорбными глазами, Касьян Голейзовский в черной бархатной толстовке и белоснежной сорочке, бритый наголо Маяковский, набрасывающий на листе бумаги автопортрет – карандаш застыл у виска... После того как молодому фотографу удалось заснять прогуливающегося по Кремлю Ильича, он переключился на партийных героев, чьи лица еще не вошли в обиход истории. Если искусство умело пользовалось светотенью, бликами, мягкой ретушью, то власть не стесняясь прибегала к услу-

гам прямого света, бьющего прямо в бессонные глаза (откуда и знаменитый ленинский прищур). Но и над искусством, и над властью царила фотография, осуществлявшая замер экспозиции на огромном пространстве страны Советов. И власть, и ее грядущие жертвы – все замирали перед стеклянным глазом, выдерживая полуминутную экспозицию, отчего в потоке времени образовывались заторы, паузы, синкопы, преодолеваемые большим напряжением народных сил, трудовыми вахтами, стахановским методом, новыми починами, перевыполнением нормы.

Фотограф Карнаухов упивался своей властью над властью, но никому не говорил об этом ни полслова, и виду не подавал, что эта его власть имеет место в мыслях. Что касается его сына Валентина – тот самостоятельно проник в отцову тайну. Дело в том, что он, как и отец, с детских лет не расставался с «ФЭДом». «ФЭД» – аббревиатура. В ней заключено, как в магическом хрустале, преломляющем световой луч на семь основных цветов спектра, имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. *Центр хрусталика, воспринимающий лучи, располагает их на задней стенке глаза, следуя предмету, их вызванному, и передается оттуда по осязающему органу общему чувству, которое о нем судит.* Так писал Леонардо. Глазок «ФЭДа» с дальним видеоискателем – это глаз самого государства, бдительное око, запускающее свои *осязающие* органы-щупальца сквозь покров материального непосредственно в метафизику, отчего материя бледнеет, увядает, тогда как образ, насаженный бабочкой на длинную иглу луча, напротив, наливаются спелостью, *товарностью* и делается тождественным самому себе в момент нажатия кнопки затвора. Гигантский глаз с дальним видеоискателем всходит над планетой как еще одно солнце, обернутое в тихую ночь... В одиночке Феликсу не раз доводилось видеть, как с тихим скрежетом отворялся металлический затвор на тюремном глазке и огромное око, щекоча металл щетинками ресниц, вбирало в себя его целиком, всегда застигнутого врасплох, с поднятыми костяшками пальцев, изготовившимися простучать в стену темницы заветное «борьба». Поэтому он не любил фотографироваться. Но Федору Карнаухову удалось заснять Феликса в момент его переезда в кремлевскую квартиру...

...ФЭД вошел в просторную комнату с двумя высокими окнами и поставил чемодан на старинный низкий диванчик с резной спинкой. За ним вбежал сын Ясик, волоча саквояж. ФЭД, в длинном черном пальто и фетровой шляпе, слегка смущен просьбой фотографа и до последней минуты раздумывает, не отказать ли ему. Вот он прислонился к подоконнику, обнял мальчика, положив на его бархатную беретку свою руку. Фотограф взвел затвор и, пятясь, как придворный, удалился на удобное расстояние, держа палец на спусковой кнопке. Фотографу Карнаухову в эту минуту томительно долгой экспозиции были понятны чувства человека, оставшегося по ту сторону объектива. И его сыну Валентину тоже были понятны эти чувства... Фотограф, будучи смышлен, мог сделаться ключевой фигурой истории, сколачивающей свой капитал на неведении позирующих. Пятнадцатилетний Валентин вежливо слушал рассказы матери о том, с каким энтузиазмом отец снимал Подвойского на эсминце, но сам верил лишь в энтузиазм резиновой груши, прилаженной к затвору, которая надувала фанерные фигуры до воздушной величины. Он уже мысленно горевал о том, что ему предстоит снимать этот мир без помощи груши. Уже не требовалось долгой экспозиции, парализующей натуру, что утверждало оператора в его абсолютной власти над нею, поэтому множество народа встало за спиной камеры по *эту* сторону объектива, чтобы снимать остальной мир – по *ту*.

Весной 42-го года Валентин заснял Шуру возле аэростата перед Большим театром. Мешки с песком, загораживающие витрины магазинов, разрушенные бомбами здания, противотанковые надолбы и ежи, окопы, аэростаты и прочая военная натура стремительно уходила в прошлое, и он торопился ее запечатлеть.

Класс для занятий танцем был с паркетными полами, покрытыми красной мастикой, пачкающей балетные туфли, с зеркалами от пола до потолка, с набегающим на одну сторону изображением вереницы девочек у станка... Шура давно отвыкла от зеркальной симметрии углов,

стен, арок, проблесков стекол, верениц девочек, словно дрессированные мартышки подражавших друг другу в движениях и позах, среди которых она не сразу смогла узнать себя. Девочек было двенадцать. Шура стояла у станка восьмой, а на середине класса – третьей, в третьем ряду, и все время путала себя то с Таней Субботиной, то с Милой Новиковой, в таком же черном трико, с такими же косичками, убранными в тугую корзинку, с удлиненными руками и ногами. Она не смела никому рассказывать о своих галлюцинациях, которых в прежние, довоенные времена у нее не было... Пока Шура лихорадочно отыскивает свое изображение в зеркале (опущенная вниз рука открывается во вторую позицию), руки девочек проходят через седьмую позицию в первую, а она беспомощно машет крыльями, как мельница, пытаясь установить контакт между собою и отражением. Шура боялась признаться себе, что зеркало вместе с вереницей девочек в нем пугает ее. Оно как будто возвращало ее в ту точку времени, в которой она была такой же беспечной и доверчивой к собственному изображению, как Таня с Милой. Шура тоже была такой девочкой, пока время не сожрало город, но теперь вся пластика и координация движений у нее были непоправимо нарушены блокадой, и чтобы восстановить их, следовало бы забыть о Ленинграде, сделать вид, что прямо из балетной студии Ольги Иордан она эвакуировалась в московское хореографическое училище с чемоданом собственных отражений, распакованных ею в таком же высоком и беспамятном зеркале... Да, хорошо быть Таней или Милой, моющей раму с переводной картинкой дали, на которой проступают лупоглазые краски женственного по своей природе искусства, созданного из ребра реальности. Мила моет раму, поставляет изображения дня или ночи, заводских труб или крон деревьев, припорошенных сумерками, *часть* замка или *фрагмент* крепостной стены, *осколок* озера, *кусочек* дремучего леса, *намек* античной колонны, усеченный конус кладбища с *вкраплением* в него 2–3 могил, *угол* балкона, обвитый плющом из папье-маше, *край* колодца – декорации, в которых Шура, если сильно постарается и овладеет координацией движений, будет танцевать *Главного Амура* в «Щелкунчике» или *Изящную куколку* в «Дон Кихоте», *Птичку* в «Золушке» или *Белочку* в «Морозко». Да, конечно, еще нужно воображение, чтобы за *частью* замка видеть целый замок, а не часть ленинградского дома с лестницей, уходящей в небо, не фрагменты ленинградских квартир, распахнутых прямо на улицу, с головешками оплавленных пожаром вещей, не усеченное бомбежкой кладбище с раскрытыми настезь могилами, – нужно воображение, которое было у летчиков, разбрасывающих с воздуха над фрагментами окруженного города саксонских коров с выменем, полным сгущенного молока. У Шуры такого воображения не было, она едва-едва влачила свое симметричное существование в училище, нацеливаясь не на роль Изящной куколочки, а всего лишь на аттестат об окончании общеобразовательной школы, который выдавало училище наравне со свидетельством о прохождении полного курса хореографии...

Как только Шура получила аттестат на руки, она забросила в чулан свои балетные туфли и решила заняться предметом, не требующим от нее, по крайней мере напрямую, ни координации движений, ни пластики, ни воображения, ни физической выносливости, которых у нее не было. Аттестат она положила в малахитовую шкатулку, где лежала стопка чужих фотографий и книга соседа-немца, чудом не вылетевшая в трубу буржуйки, предметом которой была история Тридцатилетней войны XX века, закончившейся, наконец, в тот самый год, когда Шура решила поступать в институт...

Какое значение в жизни Шуры могли иметь оказавшиеся в шкатулке эти четыре фотографии, сделанные в ателье на Невском в начале нашего столетия, вывезенные ею вместе с Гаврилой Принципом из Ленинграда?.. В каких родственных связях могла состоять умершая девочка с этой дородной дамой в гигантской шляпе, украшенной птицами и цветами?.. С этим молодым человеком с жидкой бородкой и выпуклыми глазами, в студенческой тужурке с гербовыми пуговицами, черной «николаевской» шинели с пелериной и бобровым воротником?.. С этой девочкой в пышном муслиновом платье и с серсо в руке, перевитым лентой?.. С этим

приземистым мужчиной, на лице которого застыло ироническое выражение, одетым в сюртук из черного крепа с шелковыми отворотами (на одном из них университетский значок), в полосатых визитных брюках?.. И с ангелом скорби, наконец? Девочка с серсо могла быть ее матерью, молодой человек – отцом или дядей, дама в манто и господин в сюртуке – бабушкой и дедушкой.

В выражении глаз четверки людей плавало неведение. Они ждали срабатывания затвора с таким же непроницаемым терпением, с каким ожидают повышения по службе. Пока птичка летела, у объекта, залитого непривычным светом, замирала душа, вот отчего у всех предполагаемых родственников девочки восковое выражение лиц, словно они стоически переживали грядущую вечность снимка, как пытку. Этот господин с вопросительно поднятой бровью, которая, может, была неотъемлемой частью его адвокатской профессии, держал паузу перед очередным риторическим выпадом... Эта дама в огромной шляпе, сурово смотрящая перед собою, должно быть, попечительница сиротского приюта, чувствующая свою значимость и дающая понять это другим... Девочка с серсо, которое на короткое время вручил ей фотограф, играла роль воспитанной барышни... Все они смотрели судьбе в глаза, не предполагая, что не пройдет и двух-трех десятков лет, как от всего их кустистого семейства останется одна Шура. Если бы студент, девочка, дама и господин могли представить себе такую возможность, наверное, они попытались бы подать Шуре знак с отплывающей льдины прошлого, на какое чувство ей следует ориентироваться в этом мире: надежду, сомнение, любовь?..

У Анатолия, свежее испеченного Шурино поклона, тоже хранились две старые фотографии. На одной был снят мужчина с усами и выпученными глазами, в черной шинели и меховой шапке с эмблемой городского, с шашкой на перевязи. На втором – группа рыбаков разного возраста в холщовых рубахах и рабочих передниках, тянущих из реки сети. Анатолий предполагал, что тот, в шинели, его дед, умерший от голода в Челябинске. Одним из рыбаков, тянущих сети, был его отец.

В те времена перспективу заменял задник. Отсутствие перспективы создавало впечатление, что и Толины, и Шурины карточки сделаны в одно и то же ороговевшее мгновение, в которое оказались впаяны все действующие лица: и девочка с серсо, и полицейский с усами, и рыбаки в холщовых рубахах. Через них Анатолий и Шура тоже состояли в родстве, прочнее генеалогических корней и сословных уз их связывали цепи неведения. Они не понимали забытый язык забытых вещей. И вообще: вещь, как иерархический знак, будучи запечатленной на снимке или картине, уже не существует, ее социальная значимость развеивается под рукой художника. Зато с момента запечатления она начинает насыщаться историзмом. Вокруг кружевного жабо или темляка на шашке, как планеты, вращаются эпохи. Можно сказать и так, что Глюк сочинял свою музыку во времена *особенно смело* изогнутого тюрнюра, а Колумб покорил Америку в эпоху *гофрированных стоячих* воротничков. Что касается социально опустошенного манто, повисшего на одних плечиках с утепленной шинелью на ватине, то эти вещи явились на свет в самое что ни на есть костюмированное время, во дни эпохального переодевания, когда шляпы с цветами и перьями слетели с головок трех сестер, а чахоточный подпольщик, которого *не ждали*, облачился в черную, поблескивающую, как прессованная паюсная икра из грядущих спецраспределителей, лайку. Все перемешалось в гардеробной у Флоры – началась *эпоха мезальянса*. По всей стране опекаемая ликбезом Мила мыла раму, и вымытое до прозрачности окно казалось воздухом, в котором нет преград, люди могут свободно переходить туда-сюда, холщовые фартуки льнуть к пикейным жилетам, портянки к страусовым перьям...

Что могло помешать Шуре выйти замуж за Анатолия, похожего на крестьянского поэта Есенина, и внести свою лепту в продолжающийся эксперимент по головокружительной перетасовке населения и созданию новой сословной палитры, в результате которой на свет должно было народиться новое, умное, вымечтанное Милой, моющей раму на самом высоком этаже,

где облака и орлы равны, удивительное поколение?.. Вот о чем думала Шура, приглядываясь к синеглазому робкому рабочему парню, по милости Милы оказавшемуся в одной компании с ее родственником Валентином – оба учились на журналистов. Но увы: человечество разворачивается к солнцу малахитовыми пластинками в голоцене по принципу гармошки, все с тем же неизменным, частящим, как доски в заборе, протянутым через весь распил узором натечника...

Шура уже знала, с какой легкостью новые идеи могут вскрыть паркет и отправить его в жерло буржуйки, смахнуть, как паутину, стены с человеческого жилища, истолочь в своей дьявольской ступе меловых ангелов скорби и даже сожрать город, истолочь в прах камень, железо и дерево, – но оставалась еще *земля*, незыблемое вещество, из которого вознеслись и дерево, и металл, и камень, медленная земля, дробившая закованные в броню вражеские рати нежными ростками овса и клевера. В ней растворялось убийственное время, которому и город, и библиотека – на один зуб, она имела множество медвежьих углов, не охваченных проскрипционными списками окраин, подернутых пеленой забвения захолюстий, дремучих глубин, объятых вечным покоем пространства – не внести ничего туда и не вынести ничего оттуда, – застывших на берегах и канувших на дно водохранилищ, как град Китеж, русских деревень, в одной из которых родился Анатолий...

Отец когда-то рассказывал Шуре, что в биосфере существуют *поля устойчивости жизни*, на которых организм хоть и страдает, но выживает, и *поля существования жизни* – с вполне пригодными для увеличения живой массы условиями. Она уже прошла через скудные поля устойчивости с их прожиточным минимумом, пригодным для бактерий и жгутиковых водорослей. Анатолий же, по ее мнению, пасся на полях существования. Он и не думал возражать на это. Анатолий лишился своей малой родины, ушедшей под воду волжского водохранилища, и теперь с успехом спекулировал ею, очаровывая девушек рассказами о своем босоногом детстве, пробуждая чувство сострадания и странной вины в тех, у кого с родиной (малой) было все более или менее в порядке. Поигрывая кистью шелкового шнура на поясе, он выглядел пророком, поняв, что от него именно этого и ждут. Анатолий проповедовал второй крестовый поход интеллигенции в народ, который на этот раз, благодаря культурно-техническому прогрессу, окажется удачным. Даже скептически настроенный к фольклору и захолюстьям Валентин слушал его не без интереса, наматывая кое-что на ус...

Выражение человека, что-то мотающего себе на ус, не сходило с лица Валентина. Время от времени он подавал голос, и это воспринималось и его матерью, и Шурой как отклонение от нормы: обе женщины понимали, что настоящие интересы Валентина лежат вне дома, где пасется тучная, ожидающая его фотообъектива натура. Вскоре после того, как он привел в дом Анатолия, Валентин впервые справился у Шуры: «Кажется, твой отец был консультантом на строительстве этой гидростанции?..» Нейтральная интонация, с которой был задан вопрос, как некая универсальная отмычка, подходила ко множеству смыслов. Валентин умел ставить вопросы в самый неожиданный момент, когда разговор был далек от поднятой им темы. Собственно, ответа он и не ожидал, тогда как Шура стала теряться в догадках, зачем он спросил ее об отце. Валентин не смотрел на нее. Ссутулившись над черным холщовым нарукавником, перематывал пленку в своем фотоаппарате, копошился внутри черного мешка с таким углубленным видом, будто осязал плывущие ему в руки заснятые на фотопленку образы, возможно, те самые, от которых отворачивался ее отец, приставив к глазам магический кристалл железобетонной пирамиды, сбрасываемой с грузовика в волжскую воду. Ортохроматическая пленка, на которую последнее время учился снимать Валентин, чувствительная к синим, фиолетовым, зеленым и оранжевым, но не красным лучам, вилась под его пальцами, как синяя лента Волги

на макете в чутких пальцах Шурино отца. Шура не отвечала, пытаясь понять, что за паутину плетет ее родственник... Шура ни в чем не могла упрекнуть Валентина, хотя и понимала: будь его воля, она бы и месяца не прожила в этом доме. И еще она понимала, почему он оказывал покровительство совершенно ненужному ему Анатолию и терпеливо переносил его болтовню – он подметил интерес сестры к простодушным, пересыпанным деревенскими побасенками и фольклором рассказам о родной затопленной деревне и вообще о *земле*, и надеялся, что она, выйдя замуж, исчезнет из их двух крохотных коммунальных комнат, где и двоим-то повернуться негде. Плюс еще архив отца в четырех чемоданах.

...Когда николевские вьюги след заметают, застенчиво рассказывал Анатолий, и парни варят бражку для святочных посиделок, волки – у-у-у! – становятся особенно опасны, так и рыщут по ершистому утреннему снежку. Утречком выйдешь во двор – вся поленница заготовленных на зиму дров раскатана по бревнышку, а в грядках чучела стоят переодетыми в бабьи сарафаны да распашонки, а из-под дырявых ведер у них – соломенная коса! Свет начинает прибывать с края неба, поэтому темная сила – Анатолий восхищенно хлопает себя по колену, – свирепеет, такое начинает творить, что хоть святых из избы выноси! Половиками затыкает дымоходы, сани ставит на дыбы, ворота обливает водой, так что утром не откроешь!.. На третий день святой проходит гадание на суженого-ряженого. Девки вырядятся и сядут на лавки супротив ребят, а между ними блюдо с водой на столе. В блюдо девчата бросают янтарные бусы, бирюзовые серьги, серебряные мониста, агатовые кольца, а потом тянут подблюдную песню и вынимают вещицы по одной... Но тут медведь в берлоге поворачивается – значит, солнце повернуло на весну: пора скатывать с гор колесо, сжигать его у проруби и кормить кур с правого рукава, обязательно с правого, настаивал Анатолий, чтобы хорошо неслись... Снег вырос под самое окошко, затканное ледяными перьями, морозными розами. Продышишь в стекле дырочку и видишь: ребята катаются с горок на обледенелых рогожах и старых корытах... Рождественский снег глубок – значит, будет хороший урожай, веско объяснял Анатолий. Ранней весной, когда начинается движение сока в деревьях, чистят курятники, ладят насесты, окуривают можжевельником или богородичной травкой стены. Тропинки чернеют в снегу, облака сбиваются над рекой, трясогузка садится на лед, еноты выходят из нор, из трухлявых пней вылазят ежи – начинается половодье. На Егория скотину выгоняют из хлева и, зажегши страстную свечу, приговаривают: *Пусть наша скотинка будет горька зверю!* Кукушка кукует прежде листа на дереве, значит, год будет холодный, опечаленно заключал Анатолий, но, выдержав паузу, оживлялся: прилетают серые мухоловки, пеночки, стрижи... Вот июнь с косой по траву пошел, солнечный луч вьется в березе. А береза не простая – троичная, восклицал Анатолий, веточки ее завернуты в кольца, заплетены в косички, перевиты лентами и платочками... Начинает цвести рожь, краснеет земляника. Если увидишь в грече лысую кошку, будет засуха. В Иванов день девушки собирают двенадцать трав с двенадцати лугов... Анатолий загибал пальцы, возвышая голос: плакун-траву, сила ее в корне, чтоб не плакать, терлич-траву, крепость ее в стебле, чтоб не бояться змей, чернобыльник от удушья, крапиву от ревматизма, заячью капусту от морщин, душицу от кашля, багульник от нечаянной напасти, мать-и-мачеху от горькой страсти, пастушью сумку от сухотки, зяблицу от чесотки, медвежье ухо для разжигания любви, полуночный папоротник от привидений... По реке плывут заговоренные венки из чабреца, лопуха и иван-да-марьи. Лето поворачивает на зиму, сияют Стожары, к льняной ниве выносят творог, чтобы лен был бел. Соломой кормят огородное пугало, чтобы червь не съел капусту. Когда яблоки ночью начинают часто падать на землю, охотники выезжают в поле с наговором: *По праву сторону железный тын, по леву огненная река, тут убьешься, там сгоришь, иди, белый зверь, заяц черноухий, беспяточно в мои ловушки...*

Шура беспяточно шла по заснеженным улицам Москвы, влекомая Анатолием, который робко держал ее за пустой большой палец варежки. Она сжимала ладонь в кулак для тепла. Дома и знакомые улицы расступались перед ними, как девушки после Иордани, показывая женихам вытканые ими передники и рубашки, исчезали под богатырским напором Толиной сказки, как невидимая «коровья смерть», которую на Агафью били граблями по углам коровника, скатывались с пространства, как первый снег со стогов, которым по-настоящему только и можно выбелить холстину... Шура шла за рассказчиком как замороженная, не замечая, что варежка соскользнула с ее руки... Была бы корова, а подоинок найдется. Шура нагнала свою варежку, всунула в нее ладонь, и Анатолий цап ее рукой! Так и пошли дальше... Когда коровка телится, то по истечении двенадцати удоев, как пройдет молозиво, варят молочную кашу, ставят горшок с кашей на чашку с овсом и приговаривают: *На сто бычков! На тысячу телушек!* А как на Мелентия и Алексия вынесли на морозец лен да пряжу, чтобы нитка была ровной и чистой, Шура сняла варежки, и они пошли, держась за руки, их пальцы переплелись, как десять ветров, которые Касьян держит на двадцати цепях за двадцатью замками. Пока не задувает, самое время на Симона Зилота клады искать под первой звездой с присказкой: *За Волгой на Синих горах при самой дороге трубка Степан Тимофеевича лежит. Кто тое трубку покупит, станет заговоренный, и все клады ему дадутся...* Анатолий с упоением учил ее искать клады веточкой осины, обмазанной сорочьим пометом, и наперстком, растаявшим во льду. Он предостерегал Шуру против галок, проносящихся над ее левым плечом – богатство не дастся в руку, если только быстро не сказать: *Неси, черная, черноту-бедноту в ночь, во мрак сырой, под ракету горячую...* Шура во всем его слушалась. Клала в валенок ветер-ветерок, чтобы нога была быстра. Топила воск в талой воде, чтобы сердце не болело.

В ночь на Ивана Купала Анатолий принес Шуре желтую кувшинку с заглохшего пруда, до которого добирался на электричке и автобусе, а обратно шел пешком. Разбудил весь дом. Таля, услышав стук, заметалась вокруг чемоданов с архивом мужа – она решила, что за ней пришли. Но, слава богу, за дверью оказался Анатолий в наполовину вымокших брюках с кувшинкой в руке, которая защищает от бед и напастей. Еще ее называют «одолень-травой», только, чтобы она одолевала нечистую силу, ее надо передать тому, кому хочешь добра, из уст в уста. Так они впервые поцеловались на глазах разбуженного Валентина и еле пришедшей в себя от страха Тали. Анатолий зажал кувшинку в зубах, а Шура прохладными губами прикусила стебель чуть повыше...

На Покров Шура со своей юной соседкой Ларисой по совету Анатолия спозаранку побежали в церковь. Толя сказал: кто раньше всех затеплит свечку у Покрова Божией Матери, тот раньше и замуж выйдет. Только над самым пламенем прошептать, не загасив огонька: *Покров Преблагословенная Богородица! Покрой мою победную головушку жемчужным кокошником, золотым подзатыльничком. Покров-батюшка! Покрой землю снежком, а меня женишком!* И едва девушки выскочили из храма – последний лист упал с дуба, первый снег стал ложиться ровно вплоть до Никольских выюг, которые замели последние следы осени... С Михаила Архангела земля стала просторной и тихой. Тиха и вода подо льдом. Анатолий с Шурой голова к голове слушали – тиха вода подо льдом, как в облацах... Но если она зашумит, прошептал Анатолий, весна будет бурная, ранняя...

Весна наступила тихая, темная... Долгое время, до первого березового листа, до отлета из зимних краев снегирей и свиристелей, ее сопровождала траурная маршевая классика, без которой не обходятся ни одни большие похороны. Еноты и ежи уже повывлезали из трухлявых пней, ясень пустил лист перед березой, но заезженная пластинка траурной зимы вращала Шестую симфонию Чайковского, си-бемоль минорную сонату Шопена, Адажио Альбинони. Шрифт газет сливался с непроницаемым свинцовым небом. Огородное пугало кормилось соломой,

чтобы его не сожрал червь, подточивший верхние двенадцать семей, из которых потомки чуть шею себе не сломали, глядя на запад.

В начале этой весны Валентин через друзей покойного отца раздобыл пропуск на Красную площадь, красный квадратик с надпечаткой «вход повсюду», и получил полное право пройтись с «ФЭДом» под одеждой по притихшим улицам Москвы, пролезть под грузовиками, перегородившими Неглинную, пробиться через толпу у Малого театра к Шопену, Чайковскому, Альбинони, гудящим из оркестровой ямы Колонного зала, от которой концентрическими кругами по всей стране расходились заводские гудки, траурное позвякивание орденов и медалей на алых подушечках, цоканье лошадей с султанами на головах, шелест венков. Не прилетели еще серые мухоловки, стрижи и пеночки, а вокруг гроба, покрытого крышкой с полукруглым плексигласовым фонарем, разросся полуночный папоротник, весна концентрическими кругами разошлась по земле...

...Та памятная зима навалилась на город с небывалой, обвальной мощью. Далекое шевеление костра, разложенного у будки охраны, казалось слабым и невнятным, как последняя воля, выраженная костенеющим языком умирающего: тайну этого тепла ночь собиралась унести с собою. Но для него – человека, умевшего считать тайны и с губ умирающих, и с коробок папирос, переданных в тюрьму Марии Спиридоновой (в мундштуке одной свила гнездо контрреволюция), и с трепета пальцев матроса-балтийца со свежей наколкой, все ухищрения безликой тьмы не составляли секрета. Он знал даже это: происхождение огня во мраке ночи – в замороженный Кремль на днях вместо дров завезли шпалы, чтобы они согрели тех, кто там работал и жил. Не успел снег припорошить их под будкой Троицкого моста, как ФЭД вызвал коменданта и велел ему отвезти шпалы туда, откуда их взяли. «А откуда, кстати, дровишки?» – уже уходя, поинтересовался ФЭД. «С Павелецкой службы пути», – угрюмо отозвался Мальцев. С Павелецкого шла дорога на Горки, к больному Ильичу. ФЭД замедлил шаг, обернулся. Мальцев, помертвев, вытянулся. Передернув плечами, ФЭД продолжил свой путь через занесенный снегом плац между колокольной Ивана Великого и Спасскими воротами к бывшему зданию Судебных постановлений, где на втором этаже уже не светило, увы, во мраке ночи окно сгоревшего на работе Якова.

Приказы его выполняли, но стоило отвести глаза, снять палец с курка, дать высохнуть чернилам на бумаге, все расплзлось, сводки с фронтов приходили, когда фронты переставали существовать, рапорта содержали в себе бесконечные ябеды, и задним числом по ним можно было реконструировать сложную, многоходовую личную интригу командующих, в которой принимало участие множество фигур, действующих непонятно в чьих интересах. Непонятно, каким чудом одерживались победы. Может быть, и эти шпалы, послужившие для обогрева не тех, так других людей, тоже в конечном счете сделали свое дело: слишком безысходной казалась бы сегодняшняя ночь, сплошняком проносящаяся мимо дрезины, на которой он вез Сергея Меркулова, скульптора и художника...

Звезды северного полушария, разбросанные по небу, освещали их путь. Большая Медведица в это время года стоит на хвосте, как кобра, Алькаид внизу, выше – Мицар, потом – Алиот, параллельно ему Мегред, выше – Фекда, левее – Мерак и Дубхе. Алькор рядом с Мицаром, по которому древние проверяли остроту зрения кандидатов в легионеры, не разглядеть: глаза утратили способность различать маленькую звездочку, утратили способность видеть в ночи горящее окно кабинета Якова. Мать говорила про звезды, что это ангелы зажигают лампадки. Комиссар Шмидт объяснил ФЭДу, что все небо – и Стожары, и Волосы Вероники, и Каллисто, и, конечно, Млечный Путь, сделаны из лития, бериллия, бора, водорода и гелия – вещества, которое есть и на Земле, в ее недрах, кладовых, коре, мантии, ядре. Черт возьми, небо пустеет тайнами, как проваленная явочная квартира! Но Отто Юльевич Шмидт успокоил ФЭДа, сказав, что это не так: хоть на последней международной астрономической конференции астро-

номы и убрали с неба лишних тридцать созвездий, каждый клочок Вселенной по-прежнему насыщен тайнами, как морская вода солью, потянешь одну небесную ниточку, выпадет связка ключей к целому скоплению галактик, откуда свет несется со скоростью триста километров в секунду, но мы этого не ощущаем даже в такую тихую морозную ночь, когда ветка не шелочнется, и разве это не тайна? Шмидт смотрел на ФЭДа с доброй усмешкой, такая усмешка всегда появлялась на лице матери, когда она, выслушав жалобу няньки на маленького ФЭДа, что он опять молился ночью при свече и стучал головкой о пол, приказывала приготовить для мальчика отвар цитворы с медом. Отвар цитворы, литий, бериллий, водород. Четыре кило гипса, немного стеарина, меди, метра полтора суровых ниток, и слепок готов.

На станции они пересели в сани. Чувствовать тепло рядом сидящего человека и не заговорить с ним почти невозможно, и ФЭД отрывисто спросил: «Вам удобно?» Меркулов кивнул. Он не знал, куда его везут. Вечером ему позвонили и властным, не терпящим возражений голосом задали вопрос, на который он ответил: четыре кило гипса, немного стеарина, меди и метра полтора суровых ниток... а через час после этого разговора его поднял с кровати солдат с залепленной снегом бородой, вслед за которым он вышел на улицу. Вьюга ложилась на снег широкими ступенчатыми пластами, выдувая арки в высоких сугробах, постепенно затухала, впадала в спячку. Небо прояснело. Где-то в глубине ночи разрасталась большая, пожалуй, даже огромная смерть, ее лицо надо было скрыть маской из гипса и стеарина. Сергей Меркулов знал: в какой-то неведомой точке пространства она лежит для него уже готовая, в консистенции, пригодной для москательщика. Он заранее грел и разминал пальцы у рта, стацив с рук трофейные немецкие рукавицы...

Дорога от станции, несмотря на вьюгу, оказалась накатанной, чья-то большая смерть утоптала ее в снегу. Притихшие сосны и их тени были неподвижны. Подвязанный тряпичей колокольчик под шеей лошади не издавал ни звука. Вдали показался особняк с одним освещенным окном. Меркулов мог бы узнать его по газетным снимкам. Впрочем, он до последнего момента не догадывался, к чьей большой и уже вполне оформившейся смерти прикатили его санки...

Художник принялся за свои манипуляции с лицом усопшего. Чтобы превратить смерть в метафору жизни, думал ФЭД, метафора должна быть больше и выразительней того или иного события. Метафорой были вороны, созревающие на ветвях Александровского сада, которых чем больше отстреливали от скуки латышские стрелки, тем больше становилось, черных крылатых дьяволов, срывающихся с ветвей, орущих так, что не слышен делался шум моторов, которым старались заглушить смерть. Только смерть или ее угроза могли унять повальное разложение там, в России, и здесь, в Москве. Разлагались фронты, разлагались чернила, которыми писали декреты и постановления, разлагалась жизнь, полная ненавистных вещей, реквизированных из богатых особняков. Стены тюрем разлагались, по ним плесенью шли доносы, проверить которые было невозможно, под сытое урчание моторов стреляли на Лубянке и в Лефортово, в Бутырках и Крестах, стреляли даже под окнами в Александровском саду по каркающим воронам, которых Ильич, удрученный расходом патронов, в конце концов приказал стрелкам оставить в покое.

Художник накладывал горячую маску, просунув пальцы за уши к затылку, чтобы удобнее было взяться за шею, и... – вдруг он отдернул руки и повернул к ФЭДу встревоженное лицо: «У Владимира Ильича пульсирует артерия...» В эту минуту ФЭД почувствовал разочарование и страх. Несмотря на то горе, которое он испытывал, *эта* смерть не должна была ускользнуть из его рук, чтобы положить конец беспределу и разложению, которое началось с болезни Ильича, болезни необратимой, как сказал Семашко, обызвестковавшей сосуды мозга больного почти до каменного состояния и превратившей артерии в пустые нити. Не было никого среди

первых лиц в государстве, за исключением разве что наивного Бухарина, кто хотел бы, чтобы эта сонная артерия пульсировала... ФЭД склонился над телом Ильича. Холод, ОК – абсолютный ноль, самая низкая температура во Вселенной. «Это у вас кровь пульсирует в пальцах», – сказал он художнику. Тот взялся за мертвую голову и повернул ее затылком к ФЭДу. Как он знал этот затылок!

Кабинет Ильича помещался на 3-м этаже здания Судебных постановлений. В нем было три двери. Одна – в коридор, связывавший кабинет и приемную председателя СНК с его квартирой. Другая – против стола Ильича, вела в приемную секретарей. Третья находилась за его спиной – в аппаратную. Через нее в любое время суток к Ленину могли войти только Яков и ФЭД. Входя в кабинет, он неизменно видел перед собою склонившуюся над письменным столом, на котором размещалась большая страна, как распятая на колке сохнувшая шкурка, эту знакомую голову, перемальвающую в звездную пыль огромные планетарные системы, а ее то и дело, как справедливо заметил Осинский, загружали «вермишельными делами», вроде того, выпустить ли поэта Блока в Финляндию, отдать ли Наркомзему «Боярский двор», разбором свар между Орджо и Мдивани, Сталиным и Троцким, да и сам Ильич то и дело ввязывался в мелочевку, бродил ночью по Тайницкому саду, чтобы выяснить, кто из работников Кремля допоздна жжет электричество, которое надо экономить... Слишком многое видели эти полужакрытые глаза с запавшими веками, столько зрелищ вобрал в себя безотказный зрачок, что с ним не смогли бы справиться и могильные черви! Перед смертью Ильич костенеющей рукой все указывал на глаз офтальмологу Авербаху, мол, глаза болят, материя расплзается талым мартовским следом, соскальзывает с гвоздя, как шуба с переполненной вешалки, и сколь ни схватывай ее суровыми нитками – она рвется в небытие, прочь от засвеченной явочной жизни, от пустых сот календарей. Против этого ФЭД решительно возражал. Он уже принял кое-какие меры. *Этой* смерти он не позволит рассыпаться в прах, уж слишком она огромна для того, чтобы ее поглотила земля.

Он родился в рубашке, почему ему и дали имя Феликс – счастливый. Седьмой ребенок в семье. Незадолго до его рождения мать упала в погреб, и потом всю свою оставшуюся жизнь корила себя и считала, что именно это обстоятельство пагубным образом отразилось на характере беспокойного и мятущегося сына, хоть он и родился в рубашке. Страшные сны с детства мучили ребенка. Чаще всего ему снились похороны: долгий погребальный обряд совершается то в костеле с ксендзами, то на берегу Нила с египетскими жрецами, вооруженными эфиопскими ножами, то с римскими наемными плакальщицами, с кортежем «предков» умершего – артистов, скрывших лица под восковыми масками, снятыми с давно умерших членов семьи, к которой принадлежал усопший. Смерть как будто потихоньку приручала ФЭДа к себе, вернее, приручала его к мысли, что по-настоящему ее и нет. Может, она еще водилась во времена Энея, но с тех пор давно утратила свою силу. Да, она – неподвижность и застылость членов, да, на ней кончается все, но если она действительно существует, зачем революции, свадьбы, остроги, а если ее нет, значит, человек просто меняет кожу, проходит сквозь землю, чтобы вновь возвратиться к войнам, свадьбам, книгам. Краткий сон души, погреб, в который она упала, пока волны времени не вынесут ее к свету, праздникам, революциям, любви, утвердившейся на игральных костях смерти.

Пожалуй, с нею можно было бороться, даже с физическими особенностями ее проявления – распадом материи, о чем свидетельствовал опыт египетских жрецов. Наука двигалась вперед семимильными шагами, но материя расплзалась еще быстрее, как будто мстила за себя. Эфирное тело революции махрилось еще во чреве партии, а уж после того, как родилось на свет, захлебнулось бы в измене, если б не ФЭД. Писательница Мариэтта Шагинян еще при жизни Ленина задавалась вопросом: как, в каких сложных аппаратах сохранить *энергию* той

простоты, чистоты воздуха, которым дышали старые большевики, и ФЭД для себя ответил на этот вопрос – в бутылках и чанах. Чаны и бутылки с бальзамирующим раствором могли сделать то, что не смогло сделать ни «Письмо к съезду», ни ленинская заметка «Как нам реорганизовать Рабкрин?», из-за которой Ильича объявили почти сумасшедшим, как Чацкого, в циркулярах Политбюро и Оргбюро, и ФЭД в ожидании будущего бессмертия тела Ленина дисциплинированно подписался под циркуляром, после чего на «совете десяти» на тринадцатом съезде партии его сделали кандидатом в члены Политбюро. Он мечтал железным обручем схватить уползающую от вечной юности материю – материальными же способами, на примере одного отдельно взятого тела. Кто завладеет телом Ленина, тому суждено продолжить дело Ленина. Но кто бы им ни завладел, прежде всего необходимо спасти это тело, тело революции, от разложения. На заседании Похоронной комиссии разгорелась настоящая битва за тело Патрокла. Одного из главных заинтересованных лиц, Ахилла, на этом заседании не было – он находился на лечении близ Сухуми, и Сталин предусмотрительно послал ему телеграмму с ложным указанием дня похорон Ильича. Правда, Троцкий успел высказаться загодя, еще в декабре, – он был настроен решительно против сохранения тела. Бухарин сказал, что считает для Ленина оскорблением саму постановку вопроса. Крупская требовала, чтобы мужа похоронили в земле. Каменев буркнул, что сам Ильич непременно был бы против. Ворошилов и Ярославский робко заметили, что «крестьяне не поймут» идеи бальзамирования тела. Рыков и Калинин высказались туманно. Сталин неопределенно пожал плечами: тело Ленина требуют сохранить рабочее. Преображенский попросил назвать имена рабочих. И тут ФЭД, поняв, что тело Ленина ускользает от него, побелев как смерть, закричал: *«Я вас ненавижу, Преображенский! Я вас ненавижу!»*, после чего упал на пол и забился в припадке. *«До чего довели Феликса Эдмундовича»*, – укоризненно произнес Сталин, и вопрос о теле был решен.

Плотным кольцом они окружили тело вождя, словно повивальные бабки – Феликс, Вячеслав, Авель, Леонид, анатомы, патологоанатомы, танатологи, биохимики, прозекторы. Кажется, смерть – бабочка с огромным размахом крыльев, билась о пуленепробиваемое стекло саркофага, как наемная плакальщица. Но на самом деле она уже незаметно откладывала свои личинки в пустотах черепа и опавшем левом подреберье, микроскопическими пигментами метила теменные бугры, крылья носа, веки, кисти, голени, фаланги пальцев. Красин предлагает заморозить тело. Танатолог Шор предлагает покрыть кожу умершего лаком. Анатом Воробьев предлагает удалить из тела кровь и пропитать все ткани бальзамирующими веществами. Ритуальное действие началось. Танатос, аскетичный бог с железным сердцем, отвергающий любые приношения, отошел в сторону, уступив место врачам.

Всю корреспонденцию ФЭДа – личные письма, рабочие заметки, наброски речей, записки к коллегам – можно разделить на две части, написанные как будто разными людьми. Письма к сестре Альдоне написаны человеком совершенно иной, чем та, которая известна всем, биографии. Альдона – единственный человек, которого ФЭД любил беззаветно. Он не мог стать мужем собственной сестры. Только безумие или прихотливое письмо романиста могли соединить эту пару, заставить ее слиться в экстатической мелодии, которую однажды, после разгрома майской демонстрации в Польше, на закате кровавого дня насвистывал ФЭД одной юной девушке, позже ставшей его женой. В семнадцать лет ФЭД и его близкие друзья дают клятву на горе Гедимины в Вильно посвятить свою жизнь борьбе за освобождение человечества. Гедимину и отдает он Альдону, совершает средневековый обряд обручения, подставив вместо себя гору. Поэтому ему долгое время кажется, что Альдона, с которой заключен мистический брак, обречена на то, чтоб всегда разделять его правоту. В письмах к ней слово «борьба» повторяется с маниакальной настойчивостью. Напуганная Альдона робко спрашивает – с кем он намерен бороться, пусть укажет врага! Вместо врага ФЭД указывает своих страждущих друзей, набрасывает портреты нищих, измученных крестьян, забитых рабочих, косматой собачки

с вырванным клоком шерсти на боку, которую повстречал на окраине Лодзи. На самом деле он через голову Альдоны сражается с несправедливо устроенным миром, в котором любимая женщина приходится ему сестрой, борется со своими воспоминаниями о ее белой кружевной перчатке или широкополой шляпе, тени ее ресниц и безмятежном выражении пальцев, считающих петли. Клубок ниток в солнечном пятне пляшет по полу, разматывая бесконечную нежность: ты не понимаешь меня!.. ты не понимаешь меня!.. не понимаешь моей борьбы!.. Не понимает, что он поэт, занесший ногу в будущее: отвар цитворы с медом не помог. Авторитет поэзии для него непререкаем: дело прочно, когда под ним струится кровь. Альдона возражает, что именно эта строка Некрасова и разоблачает сказочную, воздушную природу «будущего», в котором и вправду реальна только кровь как единица и рифма всеобщей гармонии, потому на нее так охотно ссылаются поэты. Бумажный ФЭД опять отвечает: ты не понимаешь. Весь май 1908 года он проводит в X-м павильоне Варшавской тюрьмы. Читает Чехова: про человека в футляре, палату № 6, дуэль, степь. Вспоминает, что его отец, Эдмунд-Руфин Дзержинский, учил маленького Антона в Таганрогской гимназии математике, и невольно пытается между строк найти подтверждение этому. Какое? Он и сам не знает. Не может быть, чтобы блестящий, остроумный, образованный выпускник Петербургского университета, каким был его отец, не запал в память будущего писателя, не отразился хоть одной чертой в героях его рассказов. Тень отца легла на страницы русского писателя, как тень отца шекспировского принца на каменные стены старинного замка... В соседней камере сидит очаровательное, жизнерадостное существо – Ганка. Они перестукиваются. Беспокойная дробь ее пальцев будит ФЭДа среди ночи или отрывает от письма к Альдоне. Ганка рассказывает, что ее обещали выпустить на волю, если она назовет имена, а потом сильно избили. Их пальцы почти встречаются в ритме слов, вензелем переплетаются в «борьбе». Если бы все узники одновременно догадались простучать в стену «борьба», то тюрьма бы рухнула, как тот мост, по которому шагали в ногу солдаты. Но дело в том, что в камерах то здесь, то там сидят сексоты, они и не позволяют подлинным сидельцам стучать в унисон, а позже выяснится, что Ганка – одна из них. Он вышел из тюрьмы совершенно больным, и товарищи решили отправить его в Италию.

Формальной целью поездки было лечение, а фактической – встреча с Горьким на Капри. В Италии ФЭД должен был ознакомиться с делами провокаторов, наводнивших партию, разобраться с методами их внедрения в боевые ряды, характеристиками, повадками, географией передвижений, сопоставленной с последними провалами конспиративных квартир, сорванными забастовками, разгромами типографий, арестами и ссылками. ФЭД занялся этим еще в Цюрихе, и почти сразу обнаружил цепочку следов, ведущих к предательству, – на самом деле хорошо утопанных и провокаторами, и истинными революционерами тропинок. И те, и другие с подложными паспортами пересекали границы, и те, и другие имели отношение к засвеченному гектографу, сидели в тюрьмах, спекулировали браунингами и динамитом, бежали из Сибири, пересекая реки на утлых челнах, успевали сесть в поезд до того, как с места побега приходило на станцию подробное описание бежавшего, скрывались в больших городах у одних и тех же знакомых, после чего рассыпались по родственникам – где их ожидала засада. Все как будто играли в общую игру – охранка, провокаторы, революционеры, банкиры, снабжающие последних деньгами, студенты с пачками прокламаций, налетчики на банки и почтовые дилижансы, обличающие существующий строй писатели, амбициозные аристократы, – и только время от времени совершавшиеся теракты и казни сообщали ей небольшую толику подлинности.

ФЭД ночами просиживал над этими шахматными партиями. Однажды, сверяя проваленные явки с именами фигурантов, железный ФЭД наткнулся на самого себя, его имя выпало после составления сложной формулы из цифр, адресов, сверки подслушанных разговоров, сопоставления круга знакомств... ФЭД слегка смутился. Он помнил стену X-го павильона

Варшавской тюрьмы, но с какой стороны стены стоял он, с какой – провокатор, он сейчас припомнить не мог. Зеленые холмы да долины, хрустальная синева озер, светлый мелодический рисунок Грааля, сменивший зловещую тему братоубийства на границе Саксонской Швейцарии, в местечке, где шестьдесят лет тому назад Вагнер написал «Лоэнгина», эфирные образы увертюры и стук – не колес или провокаторов в стену – его собственного сердца. Горький и Капри подождут. ФЭД ехал в Ватикан.

Во всех апокрифических изданиях феликсиады этот период – с начала декабрьских календ до мартовских ид 1909–1910 годов – обойден молчанием. Правда, мартовские иды выплыли из небытия благодаря Горькому, свадебному генералу революции, стоящему на террасе виллы «Спинола» в длинном демисезонном пальто и сверху еще закутанному в плед, о поездке к которому ФЭД обязан был отчитаться. Тем не менее письма ФЭДа к одной из его корреспонденток по имени Сабина помечены мартом, а границу он пересек в начале зимы. В них он и описывает, довольно вяло, свою встречу с Горьким, зато когда ФЭД переходит к описанию садов Ватикана, у него даже почерк меняется. Из этих писем улетучилось слово «борьба», намозолившее костяшки пальцев в X-м бастионе Варшавской тюрьмы. Здесь он забыл свои тени – провокаторов, гороховые пальто, товарищей по маскараду, голодных детей из фабричных предместий Ковно, калек и нищих, здесь на каждый взмах ресниц глубоким вздохом отзывалось цветущее мироздание...

ФЭДа можно принять за статую, сидящую то в беседке на островке посередине пруда, то на мраморной скамейке розария, то на краю фонтана. Он неподвижен, как воздух, пропускающий через себя аромат резеды, звезды жасмина, толпы деревьев, беломраморных статуй, отражающихся в водоемах, паломников и туристов. Никто здесь не знает его, вот что особенно радует. Об этом он пишет Сабине. В каждой капле чернил отражается высокое небо, подпираемое мраморными пророками, евангелистами, мучениками, простор, расчищенный архитектором Браманте от случайных холмов, роцц и виноградников, где когда-то стоял языческий храм Аполлона, благодаря чему солнце в этих краях всходит на несколько секунд раньше, аллеи, опрокинутые на цветники глубокие тени кипарисов, жужжание пчел, полет бабочек. По ночам любимая древними египтянами звезда Сотис не дает ему уснуть. Здесь вообще невероятно яркие звезды, не то что в туманной Польше. Он всерьез подумывает, не остаться ли ему в Италии насовсем, не сбрить ли свою польскую бородку, которую многие его соотечественники подрядились носить со времен Муравьева-Вешателя, что, конечно, было бы очень нехорошо по отношению к товарищам, субсидировавшим его поездку, – на эти деньги можно было бы купить динамит или выпустить листовку... В конце концов, в Италии тоже есть тюрьмы, например, в Венеции, во Дворце Дожей – если подняться по золоченой лестнице в Зал Большого Совета, пройти через книгохранилище св. Марка, миновать залу Совета Десяти, взбежать по винтовой лестнице на чердак – тут и будут знаменитые «Свинцы», в них когда-то сиживал Казанова... Он простучит в деревянную обшивку камеры первому попавшемуся узнику, что больше революционерам не товарищ, и если в свинцовом колодце сидит не убийца и не фальшивомонетчик, а свой брат борец, то он и передаст сообщение по цепочке тюремных стен, мол, деньги за дорогу ФЭД оставил во дворце Дожей, за портретом кисти Веронезе...

Однажды на холме ФЭД залюбовался работой тучного полуголого садовника в холщовых штанах, занятого посадкой деревьев. Садовник отделял от вороха молоденьких саженцев очередное деревце и волок к тому месту, где лежала дощечка для разметки земли, брезентовый мешок, колья с заточенными концами и мотыга. Бросив растение, садовник накладывал на землю дощечку, вбивал в каждое ее отверстие по колышку, после чего бодро копал яму от одного бокового отверстия, отмеченного колышком, до другого.

ФЭД подошел поближе и заглянул в приготовленную яму. Внутри земля везде одинакова, невидимые челюсти таинственных существ перемальвают суглинок, перемешанный с

песком, и чернозем, подпитываемый подземной влагой. Садовник извлек из брезентового мешка какую-то бурую смесь, размял ее в ладонях и высыпал на дно ямы. ФЭД вдруг застеснялся своего роста и присел на корточки. Садовник поднял голову и, улыбнувшись ФЭДу как близкому знакомому, ткнул запачканным землею пальцем в лежащий на земле саженец. ФЭД понял. Одной рукой он взял саженец, другой перемешал землю в яме, воткнул в нее деревце и стал засыпать тонкие корни землей. Садовник помогал ему, пригоршнями насыпая землю на корни. Работая в четыре руки, они вскоре наполнили яму землей до краев. Садовник поставил ногу на землю, знаками приказал ФЭДу сделать то же самое, и они принялись уплотнять почву, начиная с краев ямы... Закончив работу, ФЭД хотел достать из кармана платок, чтобы обтереть руки, но садовник удержал его руку и что-то сказал. «Не понимаю», – развел руками ФЭД. «Прима», – отозвался садовник, и запачканными руками обтер его физиономию. ФЭД хмыкнул и грязными ладонями ответил ему тем же. Чумазые, как родные братья, они похлопали друг друга по плечу. «Прима», – указывая на деревце, снова ласково произнес садовник, и принялся подвязывать тонкий ствол к колышку. «Что это за дерево?» – спросил ФЭД, ткнув пальцем в ствол. Оказалось, *лавр*. Лавр так лавр. Лавр благородный. Поднявшись по мощеной дорожке на холм, ФЭД оглянулся. За это время садовник успел посадить еще несколько деревьев. *Его* деревце было первым в ряду. Теперь здесь, в Италии, с улыбкой подумал ФЭД, у него есть своя недвижимость. Своя лиственная *тень*, которая будет ходить вокруг дерева как привязанная. Расти как летнее облако. *Сень*, о которой скорбел пророк Иона, сидя у врат Ниневии. Дерево будет жить вдаль от него, шелестя листьями, приманивая птиц, в заботах о собственном росте прислушиваясь к затевающим что-то доброе для него тучам, к клокочущей в его корнях подземной влаге...

В ряду деяний, прославивших железного ФЭДа, это, может быть, самое неприметное и замечательное, останется мало кому известным. Об этом дереве ФЭД долго будет вспоминать. Кто-то из красных дипломатов, оказавшихся в вечном городе, однажды разыщет в саду Ватикана лавровое дерево, сверившись с нарисованной рукой ФЭДа схемкой, и привезет в Москву сорванный с живой ветки листок. ФЭД будет тронут. Он и предполагать не мог, что со временем дерево вырастет и принесет удивительные плоды. Многие приехавшие со всего мира туристы, проходя мимо стоящего в крайнем ряду лавра, будут срывать с него вечнозеленые листья на память о своем посещении садов Ватикана... Эти листочки, попавшие в записные книжки туристов, сгибы географических карт, проспектов с видами Ватикана, словно сорванные могучим ветром, перелетят через кордоны и границы, водные и земные пространства. Этот листопад благоуханного лавра, посаженного когда-то рукой железного ФЭДа, покроет страны и континенты, отдельные листья выпадут на Москву и Ленинград, чтобы осесть в гербарии школьника, в конверте любовного послания, в дипломатическом паспорте, в ящичке из-под цветных мелков, в супе блокадника. Таким образом, сколь бы ни был прихотлив маршрут ФЭДа, листок лавра мог настигнуть его в любой точке планеты.

Сохранилась записка ФЭДа, написанная на клочке официального бланка: «*Как это можно «сердце» сохранить – научите меня, может, пригодится?»* Крохотный клочок, испи-санный бисерным почерком в подражание Ильичу, вырезавшему аккуратные квадратики из докладных записок Троцкого, Склянского, на которых тесно ютились буквы, а еще в левом углу надо было оставить место для ответа вышеупомянутым товарищам. Его сердце с недавних времен повело себя враждебно – то замирало от истощения всего организма, то ныло от бессонниц. Сердце пытается разговаривать с железным ФЭДом самым простым, доступным любому смертному языком боли, пытается внушить ФЭДу, что он без *горячего* сердца или с сердцем, взятым в кавычки, человек маленький, как глазок камеры, в котором весь помещается, еще и место в левом углу останется... Сердце болит от шума, все чекисты на Лубянке переобулись в войлочные тапочки, боль и вырывает у него из рук записку к одному из членов РВС, по сов-

местительству врачу, в общем-то, крик души, если знать железного ФЭДа, несмотря на шутиливую интонацию. Врач быстро сочиняет ответ: *«Больше спать. Не курить. Не волноваться. Сократить умственный труд. Регулярно определенное количество часов работать. Регулярно питаться. Не вести слишком ответственной работы»*. Вот комплекс мер, направленный на вывод сердца за кавычки. Для медицинской рекомендации врач использовал обратную сторону клочка, а в левом свободном углу ФЭД написал ответ: *«Развалитесь при таком режиме»*. «Развалитесь!» – это крик, который никто не слышит, потому что чекист Эйдук дал команду: «Заводи машины!». Машина работает, но все расплзается, железнодорожная сеть прервана, пути разрушены, составы гниют под дождем, мосты взорваны, станции сгорели, шпалы используются как поленья, рельсы отработали свое, в багажном отделении крысы, и «зайцы», «зайцы», некому их отлавливать, потому что контролеры куплены на корню! Феликс, не обращая внимания на сердце, рыщет по вагонам, сам разбрасывает крысиный мор в багажном отделении, сам проверяет билеты, а потом является на заседание Политбюро в гимнастерке с заплатанными рукавами и, рассказывая о разрухе народного хозяйства, срывается на крик. Но этот номер у него не проходит – Ленин уже давно умер, и время, когда брали глоткой, прошло. Зиновьев, Сокольский, Сталин, Пятаков, Бухарин – все они в приличных костюмах и смотрят на ФЭДа с понимающими ухмылками, как мать, поившая его в детстве отваром цитворы. Он им здорово надоел со своей пылкостью, объясняющей процессом в легких. «Феликс, ты не на митинге!» В этот момент появляется одна английская скульпторша, которая мечтает вылепить его бюст. ФЭД позирует терпеливо, не то что Троцкий, для которого поза была внутренней потребностью. Англичанка умиленно заметит, что он тих, как дитя, хоть снимай с него посмертную маску. Они вспоминают мраморные статуи и сады Ватикана, ФЭД немного оживляется, глаза загораются блеском... *«Мне не доводилось видеть более прекрасную голову, чем голова Дзержинского, – напишет позже взволнованная иностранка. – Глаза, омытые слезами вечной скорби. Рот улыбается кротко и мило. Лицо узко, высокие скулы и впадины. Нос тонок, нежные бескровные ноздри отражают сверхтонкость... Руки – великого пианиста и гениального мыслителя...»* ФЭД сидит тихо, как мышь. Он привык сидеть тихо, как мышь, в лунном сиянии тюремного глазка, в лодке, спрятанной в камышах, в конспиративных квартирах, тихий, как тень, оставленная им в садах Ватикана. Он и умрет тихо, как праведник, накануне дня памяти своего святого, мученика Феликса, и товарищи замуруют его прах в кремлевскую стену по соседству с другими товарищами, революционерами и провокаторами.

В ту смутную весну, когда рыдающая траурная музыка покрывала тающий снег и лед на реке, Валентин сфотографировал жениха и невесту. Шура с льняной, обвитой вокруг головы косой, в светлом строгом костюме. Анатолий, стриженный под уже немодный полубокс, в однобортном пиджаке и рубашке с мягким отложным воротничком. Серые глаза Шуры смотрят настороженно и близоруко, точно она уже провидела землю, на которой они поселятся, землю, на которой наши предки выжигали лес, три года кряду засевали ляды рожью, а потом оставляли ее под паром, поскольку под новую пашню она согдится не раньше чем через тридцать пять лет. Может, Шура думала в этот момент не только о земле, но и о своем предмете, истории: скоро, скоро можно будет вернуться к ляжке и посмотреть внимательно, что на самом деле скрывал последние тридцать пять лет ограненный закатными облаками солнечный луч за малахитовой розой, «Эдемом» Бакста и уморительным зайчишкой, рубиновыми звездами, «Письмом к съезду», молочными реками, свинцовой пургой, – какие еще ловушки?.. Ясный есенинский взор Анатолия заволокла мечта, возможно, о культуре, которая окончательно задернет полог над родной затопленной избой с покрявившимися окнами, сгнившими венцами и матицами, крытой почерневшей дранью, трудовыми книжками, свекольным листом, шавелем и крапивой вместо хлеба в голодном мае, размоченными липовыми лыками для плетения лаптей... Рано или поздно культура поглотит и крапиву, и лебеду, и яровую солому, мелко нарубленную в

сечку, что идет на корм скоту, и торжественно пропишет по своему адресу сто пятьдесят трудней, которые полагалось отработать его матери – бабе Пани, чтобы не отняли приусадебный участок, и затопленные деревни. Старинные книги, где написана всякая правда, раскроются скатертью-самобранкой, скоро, скоро пройдет тридцать пять лет... А пока жених и невеста, скованные цепями неведения, напряженно смотрят в будущее, и пережившие блокаду вместе с людьми меловые ангелы скорби незримо обрамляют фотографическое поле. Эта фотография, как и многие другие, ляжет в малахитовую шкатулку по соседству с дамой, студентом, господином с университетским значком, девочкой с серсо, городовым и артелью рыбаков в холщовых рубахах и передниках.

3

ЗЕМЛЯ, ДОМ. Деревня, в которой Анатолию и Шура выделили пустующий дом, лежала в семи километрах от райцентра. Маленькая, сонная, вытянувшаяся вдоль дороги, с одной стороны ведущей в поселок, где в редакции районной газеты стал трудиться Анатолий, с другой – к понтонному мосту через речку Лузгу. Толя решил, что это – судьба. Его фамилия была Лузгин... За речкой – еще пять деревень, в средней из них, Цыганках, Шура начала преподавать историю в восьмилетке.

Домик с садом был старенький, но еще крепкий, с облупившимися стенами, когда-то крашенными зеленой краской, с темными от пыли окнами, двумя прокопченными комнатами с просторной кухней, отделенной от горницы высокой приступкой. Перед печкой с чугунной дверцей, из которой тянуло могильной землей, на полу валялась старая щепка. Из сеней одна дверь вела в жилую половину, другая – в чулан с подслеповатым окошком. Открыв дверь в чулан, молодожены обнаружили, что он завален досками, табуретами, пожелтевшими газетами, диванными валиками, сундучками, садовым инструментом, рулонами школьных географических карт – и поверх всего этого богатства стояла плетенная из лозы детская зыбка на двух согнутых полудугах... Окинув все эти вещи хозяйским взглядом, Анатолий решил, что мебелью им обзаводиться не придется. Из досок он сколотит стол, полки и другие полезные вещи...

Дел было много. Анатолий натаскал из колонки воды и выскоблил пол; Шура вымыла стены и окна. Покрасили полы, дали им подсохнуть, застелили полы газетами и побелили потолок и стены. Потом сделали первую семейную покупку: рулоны светло-бежевых в желтую полоску обоев. Шура размечала и разрезала обои, Анатолий разводил в ведре клей. Шура валиком обмазывала им стены, Анатолий клеил обои. Вычистили устье печи, прочистили дымоход. Только тогда решили разобрать вещи в чулане. Постелили себе под ноги розовый Союз Советских Социалистических Республик и уселись на него, уткнувшись пятками в коричневый Казахстан и синюю Киргизию. За бежевой Эстонией, салатовой Латвией, желтой Литвой, лиловой Белоруссией, зеленой лужайкой Украины, бордовой Молдавией и голубым пятном Черного моря земля утрачивала краски, бледнела, как приговоренный к пожизненному заключению, снежно белела, как еще не открытая ни Христофором, ни Марко, ни Васко – туда, казалось, еще не ступала нога человека. Белая как снег земля, terra инкогнита. В районе Чукотского моря черной тушью была написана мелкими буквами немецкая фраза. Шура прочитала: *«Душа любит того, кто похож на ее тело»*. – «Как это понять?» – через паузу спросил Анатолий. Шура думала не о душе и теле, а о том, как могла немецкая фраза залететь в Чукотское море. О том, кто жил в доме прежде. «Разве моя душа похожа на твое тело? – допытывался Анатолий. – И вообще – как душа может быть похожа на тело?» – «Вот что! – вдохновилась Шура. – Мы сейчас распланируем наше жилище: где что у нас будет стоять...» – «Давай!» – обрадовался Анатолий. Шура на куске карты черной сангиной быстро набросала план дома и начала рисовать мебель, оживленно давая Анатолию пояснения: вот здесь у стенки будет шифоньер, здесь – плита, здесь – педальный рукомойник с раковиной, в зале – книжные полки, круглый стол, диван с подушками, люстра... А Анатолий в это время куском школьного мелка набрасывал свое: стол, который он соорудит из досок, диванные валики вдоль стен, как кресла, удобно и оригинально, только надо вынести их из чулана и как следует выбить, сундуки на кухне, в них хранится посуда, как дома у мамы – бабы Пани, за окном на березе скворечник, из которого высовывается клюв удода... Нарисованное Шурой осталось на бумаге (а позже появилось и в доме), а начерченное Анатолием белым мелом по белому осыпалось и стало прозрачным. Как будто сразу выцвело под палящими лучами Шуриных желаний. Черные ряды книг выстроились на полках, закрыв белые ящики с Толиной рассадой. На черном столе, покрытом прозрачной маминой скатертью с тонкими кружевами, стоял белый пирог, но его закрыла черная ваза

с черными цветами. На месте прозрачного аквариума с мелковыми рыбками на подоконнике появились горшочки с геранью. В детской Толя нарисовал двух прозрачных карапузов, а Шура – две черные кровати. Прозрачные вещи Анатолия не уцелели: Толино солнце в окне закрыли две черные занавески. Толин рисунок выпал как снег и растаял как снег под черной сангиной, которая, согласно плану, оживала на глазах – и шифоньер был куплен, и диван, и педальный рукомойник...

Волосы у Шуры были пышные, длинные, до нежной выемки под коленями. Анатолий расчесывал ее волосы ореховой расческой сверху донизу. Волосы искрились в ребрах расчески. Под затылком младенческие завитки, Анатолий дул на них. Тоненькие чистые проборы умиляли его. Шура разрешала ему забавляться с косой. Он плел ее как у них в деревне, на девять деленок. Сначала туго, потом сплетая пряди слабее, чтобы коса была ровной. Кончик косы насаживал на перламутровый, с серебряной пуговкой треугольник, принадлежавший когда-то его молодой матери. Какие волосы! Он дышал через них. Плел не одну, а двенадцать кос, укладывая их баранками на затылке, за ушами, на макушке... Перевивал пряди стеклярусом, вплетал в них живые цветы. Пропускал через пальцы, укладывал колосом над затылком, обвивал косой голову, как короной. Даже когда они, обнявшись, прогуливались вдоль деревни, боялся выпустить прохладную Шурину косу из рук, обвивал ею свою шею... Но почему-то разговора у них не получалось настоящего. Шура ускользала от его вопросов, требовательных, мужских, о ее женском прошлом, да и сама все время уклонялась, когда Анатолий разговаривал с нею неммым прикосновением пальцев, как с глухонемой. Прозрачная пряжа, которую они ткали ночью, днем распускалась, как небрежно заплетенная коса, – Шура плела ее теперь сама, ей наскучила игра с ее волосами. Анатолий все никак не мог понять той загадочной фразы насчет души и тела. Ему чудилась в надписи на старой школьной карте какая-то угроза, смысл не давался ему, а немецкого языка, чтобы проверить перевод, он не знал. Шура устала отвечать на его вопросы и предпочитала отмалчиваться, словно пряталась от него за странной надписью, как за дверью, ключа от которой он не имел. Однажды, когда он прибывал ковер в детской, Шура как будто нарочно подставила палец под гвоздь, и Анатолий ударил по ее пальцу молотком. Шура вскрикнула. Анатолий, побледнев, рванул окно, сгреб с подоконника снег и стал растирать ушибленный палец. Шура снег терпела, но когда он стал дуть на ее палец, а потом целовать его, вдруг зло отдернула руку. И Анатолий, разозлясь, сам не понимая, что делает, вогнал гвоздь в ее косу, прибив ее накрепко к стене. И вышел из горницы, в сердцах хлопнув дверью... Поостыв на холодке, вернулся в дом. Прибитая к стене Шура сидела на стуле и с рассеянным выражением лица крутила на ушибленном пальце обручальное кольцо.

«...В газете нет мелочей, в ней все важно: и содержание корреспонденций, очерков, фельетонов, и верстка, и качество печати, и запахи свинца, типографской краски, и стрекот лино типа...» – поучал на летучках свой небольшой коллектив Зуев, главный редактор районной газеты, в прошлом комиссар партизанского отряда «Ураган», наводившего страх на оккупантов.

Анатолий азартно записывал за ним: «и запах типографской краски, и стрекот лино типа...». Он собирал материалы о партизанском движении в крае и надеялся когда-нибудь написать о Зуеве. Во времена оккупации за голову Зуева, автора пламенных партизанских листовок, поднимавших народ на борьбу с врагом, немцы готовы были выплатить 15 тысяч марок. Портрет его, перепечатанный с захваченного немцами фотоснимка, украшал здание немецкой сельхозкомендатуры в Цыганках: Зуев на фоне старой, чихающей «аэротушки» с чернильной подписью внизу: «Агитсамолет на посевной». Лицо человека-невидимки, время от времени появляющегося в оккупированных деревнях то в образе уродливого горбуна, припадающего на одну ногу, то под видом немецкого солдата на мотоцикле, то почтенного старца

с седой окладистой бородой. Анатолию казалось, что газета, возглавляемая таким могучим человеком, способна сдвинуть весь район, а то и область, к былинному будущему с цветущими садами, орошаемыми полями, горящими огоньками далеких сел, о котором в то время много говорилось и писалось. 15 тысяч марок, набранные крупным кеглем, как нимб, еще незримо сияли над головой легендарного Зуева.

Главный редактор сам вычитывал и правил рукописи, рисовал макеты, раздавал задания, верстал четыре полосы газеты, поднимался в наборный цех, диктовал прямо на линотип передовицы, в которых клеймил догматизм, цитатничество, иссушающее живое газетное слово, обрушивался на украшательство, вошедшее в моду в журналистской среде, когда вещи называют не своими именами, например, телевизор – голубым экраном, нефть – черным золотом, небо – пятым океаном, и засоряют язык иностранными словами.

Анатолий добросовестно старался не цитировать, не украшать, когда садился за репортаж о колхозниках, наладивших производство хозяйственных сумок-зембилей из камыша, или фельетон о бабках-знахарках, торгующих щепками дуба, в дупле которого в прошлом веке поселился, как птица, и прожил много лет почитаемый селянами отшельник... Он приезжал на отдаленную свиноферму, где пожилая свинарка Рая в замызганном синем халате, хлопая свиней по осклизлым щетинистым спинам, выгребала совковой лопатой грязную жижу, доходившую до краев ее сапог. Несмотря на грязь и отсутствие необходимого корма, трудящаяся женщина казалась Анатолию вписанной в свою незначительную социальную роль ловко и аккуратно, как букровка в клетку, вместе со своими хавроньями. Она владела реальностью так же сноровисто, как совковой лопатой, знала точно, сколько нужно ввести в кормовой рацион поросят сенной трухи, моркови и картофельной затирки, с какого момента кормить подсвинков лебедой, крапивой и кухонными остатками, когда кастрировать хряков, как обеспечить полный рост костяка и мышц, на которых будет отлагаться сало... Только моркови, картофельной затирки и кухонных остатков не имелось в рационе поросят, застенчиво признавалась Анатолию свинарка Рая. Не было у нее и помощницы. У одной на все рук не хватало. В военные годы помощница была, а теперь как будто все ушли на фронт, некому работать на свиноферме. Поросят же надо было кормить часто и понемногу, чтобы у них не случилось поноса, успевать готовить им пищу, мыть посуду, в которой она готовится, просушивать ее на солнце, чистить кормушки... И ни в коем случае не кормить молодняк вчерашним пойлом... Голос свинарки Раи звучал ровно и добродушно. Профессионализм, как вольфрамовая дуга, работал на весь круг ее интересов и понятий, не оставляя никаких глухих тупиков и срезанных мраком углов, и это мирное единение с ситуацией подготовки кормов и чистки загонов выстраивало систему взаимоотношений с миром, не требующих от женщины лишнего рвения... Толя слушал, делал записи в блокноте, щелкал фотоаппаратом «ФЭД». Натура перла на него сплошняком, густой грубой массой, сенной трухой, древесной золой и красной глиной из поросячьих загончиков для его, Анатолия, нормального откорма вчерашней несъедобной пищей, а свежее пойло, должно быть, съедали какие-то таинственные люди, которые должны были обо всем этом распорядиться – о картофельной затирке, овсяном молоке для подсвинков. Натура как таковая не могла, не имела права войти в репортажное поле, со всех сторон ограниченное ожиданием мифического будущего, в котором поросят будут обеспечивать кормом 5–6 раз в день... Зуев в легендарные времена пускал под откосы составы и взрывал тщательно охраняемые немцами мосты, но поросячий понос и прочие сигналы бедствия его красный карандаш автоматически удалял из Толиных корреспонденций, как «голубой экран» и «пятый океан», и Анатолий волей-неволей был вынужден равняться на карандаш, выводя заболевших поросят за пределы репортажного поля, чувствуя, как его «ФЭД» тянет его на дно, наливаясь свинцовой тяжестью от увиденного, и жаловался Шуре, что немцы, как видно, явно переборщили, предлагая за голову Зуева 15 тысяч марок.

Это была земля, со всех сторон ограниченная кромкой бесконечного леса, в который наши предки врезались с топором и огнем, проникая в сумеречные хвойные чащи подсеками, десятками и сотнями починков через урочища, холмы и реки, ориентируясь на белую ольху и березу, указывающие на пригодную для выращивания хлеба землю. Еще недавно в лесах прятались партизаны. Грибники и ягодники до сих пор находили на полянах ржавые, но вполне пригодные «дегтяри», «шмайсеры» с рожками, русские и немецкие винтовки, полусгнившие офицерские ранцы, отделанные телячьей кожей, бурки с галошами, покрытые никелем губные гармошки, термосы, зажигалки, ружейные ерши, саперные лопатки вперемешку с костями и черепами павших тевтонов и славян.

В Цыганках в бывшем помещичьем доме с башенкой во времена оккупации размещалась немецкая сельхозкомендатура. Каждую неделю бригада «доильцев» на трех мотоциклах, гремя бидонами, совершала объезд окрестных лесных деревень, отбирая у местного населения картофель, масло, яйца, мед, выдавая коров, чтобы лишить его возможности помогать засевшим партизанам, которые очень быстро обжили лес, научились сидеть у огня так, чтобы дым не охватывал одежду, чтоб она не приобрела стойкий запах костра. Немцы со страхом поглядывали в сторону чащи, им все время казалось, что лес вот-вот оживет и, как Дунсинан, двинется на деревню всей своей таинственной сосновой массой, за которой вприпрыжку побегут маленькие, засыпанные снегом елочки. Бессонный патруль тревожно вглядывался в светлую от снега ночь, и снег скрипел под его сапогами. Со стороны леса стояла непроницаемая тишина, как будто он необитаем, но каждое утро из него в деревню и из деревни в лес вела цепочка следов, обрывавшаяся у тропинки, почему-то хорошо утоптанной, хотя ночью шел снег. А однажды, когда он перестал идти, неуловимые партизаны на взгорке перед самым лесом вытоптали глубокое русское слово *СМЕРТЬ*.

Партизанское воинство возглавлял бывший первый секретарь райкома Михаил – после того, как немцы пришли в райцентр, он в одиночку заминировал и взорвал запруду, и река затопила машинный парк, который оккупанты использовали для ремонта техники; заместителем у него был Николай, старый моряк, вместе с начальником штаба Георгием он устроил на дороге засаду, перебив конвой, освободил военнопленных и увел в лес. В райцентре, занятом немцами, полиграфист Кирилл возглавил в типографии подпольную группу, которая под строгим надзором фашистов печатала материалы командования немецкой армии и оккупационных властей, – но стоило дежурному офицеру отвлечься, как печатник быстро подменял набор и печатал листовку, а потом подпольщики распространяли ее по деревням. Одна вдова в Белой Россоши, по имени Иулиания, выпекала для партизан по сорок килограммов хлеба, примешивая ко ржи, которой было мало, лебеду и древесную кору. Партизаны варили в котле снаряды, из которых предварительно выкручивали взрыватели, а когда толовая начинка становилась текучей, выхватывали снаряды из котла, выливали толовую жижу в железные формы, где она застывала. Группа подрывников из трех человек с самодельной взрывчаткой отправлялась на задание к железнодорожным путям: Ананий устанавливал заряд на середине рельса, Евстафий отмечал его вехой, Азарий поджигал запал. Партизанский разведчик, бывший пастух Трифон, держал под контролем передвижение войск и техники противника. Ночью фашисты с самолетов сбрасывали осветительные фонари на парашютах. На большаке было светло как днем, но осветить лес им не удавалось. Тогда они схватили фельдшера Козьму и потребовали, чтобы он отвел их к стоянке партизан. Тот завел в глухой лес. Тридцать немецких автомашин, набитых оружием и солдатами, завязли в болотистом овраге. После этого осатаневшие немцы схватили жителей окрестных деревень и согнали их в озеро. Стоял апрель, озеро едва оттаяло. По берегам его полицаи разложили костры. Они стояли и грелись у огня, призывая тех, что были в озере, выйти из воды и указать им путь в партизанский лагерь. И вдруг один человек, находившийся на берегу, увидел, как яркие ночные звезды пришли в движение и сошлись в середине

неба прямо над головами стоящих в озере. Какой-то юноша не выдержал ледяной пытки и выбрался на берег, и одна звезда тут же погасла. Тогда тот, который увидел это с берега, вошел вместо него в воду, и звезда встала над его головой. Утром этот юноша по насыпи законсервированной в тридцатые годы железной дороги через лес привел гитлеровцев к партизанскому лагерю. Партизан там уже не было. Еще тлели угли от костров, в глубоких ямах, забранных жердями и укрытых еловым лапником, лежали мешки с зерном, в зимних землянках пахло сырыми ватниками, ружейной смазкой, махрой и бензином, в железных бочках с вырезанным дном и прорубленной сбоку дверцей для топки тлели коптилки из снарядных гильз, на нарах кое-где белели разорванные в клочья недописанные письма, и от жерновов, которые недавно вращала ходившая по кругу лошадь, пахло хлебом, а люди и кони исчезли за деревьями...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.